Джалол Икрами

Признаю себя виновным...

ПРИЗНАЮ СЕБЯ ВИНОВНЫМ...

ДЕКАДА
ТАДЖИКСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
И ИСКУССТВА

Джалол Икрами

Признаю себя виновным...

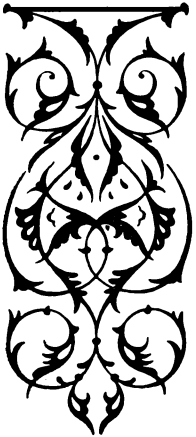
РОМАН

ТАДЖИКГОСИЗДАТ

Сталинабад—1957

Авторизованный перевод с таджикского
Евг. Босняцкого и *Юрия Смирнова*

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ



Чтоб мудро жизнь прожить, знать надобно немало
Два важных правила запомни для начала:
Ты лучше голодай, чем что попало есть,
И лучше будь один, чем вместе, с кем попало.

Омар Хайям.

ПРОЛОГ

Небольшой кабинет. Письменный стол. Напротив, в дальнем углу, маленький столик. Несгораемый шкаф.

За письменным столом сидит прокурор, пожилой, усталый человек. За маленьким столом—преступник или человек, которого подозревают в преступлении. Он взволнован.

— Да... да... я виноват, страшно виноват... — говорит он.

Прокурор долго, внимательно смотрит на него. Наконец произносит:

— Степень вашей вины установит суд. Но куда более важно, чтобы вы сами установили ее для себя, внутренне осудили... или оправдали себя... Чтобы вы поняли — что привлекло вас на скамью подсудимых... Это надо осознать, прочувствовать. Надо, даже необходимо, хотя бы для того, чтобы подобные ошибки больше не повторялись...

— Это не так просто... Это...

— Я знаю. Я понимаю. Многое нужно вспомнить, многое проанализировать, переоценить и,—что, пожалуй, самое трудное—нужно беспристрастно посмотреть на себя, на свои поступки... Да, я понимаю, трудно, но... Уверяю вас, это необходимо для дела, это необходимо для вас... Подумайте...

Глава I.

Так свежа земля родная, так душиста зелень луга,
Так вино мое прозрачно, так светла моя подруга:
Первая подобна раю, с бурной страстью схож второй,
Третье—с Балхом алоструйным и четвертая—с весной.

Абульхасан Фаррухи.

Весна всегда приятна и всегда удивительна.

Оживает природа, возвращается жизнь, и все свежо, все блестит и сверкает, всюду мы видим молодость и сами молодеем, наполняемся силами.

Земля покрывается сочной, яркой зеленью. Деревья расцветают; их пышные кроны пенятся и как бы кипят в огромных просторах предгорий. Воздух напоен пьянящими ароматами. Всюду гудят, жужжат, звенят пчелы и шмели... Даже мухи в это время года не мучат людей и кажутся частью трудового движения жизни.

И, конечно, красивее всего весна в кишлаке Лолазор.

Это селение лежит у подножья горы, на краю плодородной долины, расцвеченной яблоневыми садами. С двух сторон его огибают бурные горные речки. Зима там обильна снегом и может быть потому весна так свежа и радостна. Арыки полны водой; вода бурлит и на улицах, и в садах, и во дворах, и на полях. Журчание арыков бодрит и

веселит сердца тружеников. Всюду слышен смех, и глаза людей всех возрастов полны надежды.

Ранней весной все окрестности покрываются желто-красным пламенем тюльпанов. Тюльпаны всюду: на склонах гор, в поймах рек, на улицах, во дворах. И даже на некоторых крышах вырастают они. Да, это очень странно и весело— где еще на крышах домов могут вырасти цветы?!

Кажется, со всего мира слетелись сюда разноголосые птицы. Всю ночь звучит трель соловья. А днем воздух полон чириканья, щебета, переливов, всё щелкает, свистит, поет. Кажется, что мир—это огромный оркестр.

Куда ни глянь, на поле обязательно увидишь прерывистые струйки тракторных дымков. На полевых станах дымят бригадные кухни, а в горах жгут прошлогоднюю траву, и буйный весенний ветер приносит то запах горящего кизяка, то пряные ароматы весеннего пала, то едкий запах солярки—пищи тракторов. И всё это—признаки бурной жизни людей, их новых надежд и чаяний.

Хороша весна в Лолазоре!..

Анвар Салимов живет здесь уже одиннадцатый год. Окончив институт, он приехал сюда по распределению, думая, что отработает положенные три года и вернется в город. Но разве можно расстаться с Лолазором? Нет, теперь Анвар останется здесь до конце жизни. Он свил тут гнездо: женился, здесь родились его дети.

И он, и его Сурайе работают в школе. Они любят свой труд и с каждым годом совершенствуются, помогая друг другу. Анвар приехал сюда рядовым преподавателем, а теперь он уже директор школы-десятилетки—единственной кишлачной десятилетки во всей округе. Теперь никто не уговорит Анвара переехать в город. Он полюбил тихую, спокойную и в то же время деятельную жизнь колхозного кишлака. За десять лет он сдружился с людьми. Он знаком со всеми по имени, знает все радости и печали людей, всё, чем живут колхозники. Под каждой крышей он всегда желанный гость. Жители кишлака любят и уважают его. Родители его учеников советуются с ним и его женой. Анвар и Сурайе чувствуют, что они нужны в Лолазоре, и это делает их счастливыми и приносит удовлетворение. Они нужны и в клубе, и на собрании колхозников. Без них не обходится ни один концерт, ни одно празднество, ни од-

но семейное торжество. Здесь их считают самыми умными и образованными людьми. Спросите почтальона—кому больше всех приносит он журналов и газет и, удивленный этим странным вопросом, он ответит: «Конечно, учителю Анвару и его жене!» Недаром Анвар—один из тех, кого колхозная парторганизация наметила сделать своим вожаком: ведь скоро перевыборы партийного бюро.

Да, десять лет работы на одном месте, это не шутка. Анвару всего тридцать два года, а Сурайе нет еще тридцати, но, смотрите-ка, многие из тех, которые, вначале их работы в Лолазоре, поднимались из-за парты, когда педагог обращался к ним, теперь уже сами имеют детей и скоро приведут их в школу.

Нет более благородного и более благодарного труда, чем труд учителя. А особенно сельского,—так считают Анвар и его жена.

* * *

Это был самый обыкновенный весенний день, каких в жизни Анвара было очень много. День отдыха. Воскресенье. Конечно, в такое утро просыпаешься и приятным чувством легкости и свободы: не надо никуда спешить, ты отдаешься во власть семьи, во власть детей; они тормошат тебя, прыгают, визжат; папа с ними, мама весь день тоже будет с ними... И солнце, и зелень, и цветы—всё сегодня для их удовольствия.

Но теперь, когда Анвар вспоминает это воскресенье, ему почему-то кажется, что оно было каким-то особенно радостным, особенно счастливым... А, впрочем, если подумать, ведь то воскресенье было действительно последнее истинно счастливое, беспечное и чистое... Это был тот самый день, с которого всё началось...

Они поднялись позже обычного и собрались в своем дворике, на суфе,[1] когда солнце уже выбралось из-за холмов, а на соседнем поле стрекотали кузнечики. Птицы и дети своими голосами наполняли воздух. Словом, утро уже вовсю звенело.

Подавая завтрак, Сурайе виновато улыбнулась и сказала своим мягким, певучим голосом:

— Что-то я сегодня долго спала... Хоть бы вы разбудили!

---

1 *Суфа*—глинобитное возвышение для сидения.

— Ну-ну,—добродушно откликнулся Анвар.—Стоит ли об этом говорить. Сегодня—выходной, каждый делает, что хочет. Ты ведь всегда поднимаешься раньше всех, так почему бы тебе и не поспать лишний часок в воскресное утро!

Жена бросила на Анвара взгляд благодарной нежности. И он принял это, как должное. В тот момент ему не пришло в голову, что в его тоне было прощение жене, как будто она в самом деле виновата в том, что проснулась позже обычного. Да и в молчаливой благодарности ее в то утро он не подметил ничего особенного. Тогда ему казалось, что в этом-то и состоит супружеское счастье: муж и жена обмениваются понимающими улыбками, и каждый помнит свое место.

В то утро он не задумывался ни о чем. Да и нужно ли задумываться, когда всё так хорошо? Вот защебетала их старшая дочка Мухаббат.

— Спим-спим-спим сколько хотим,—подпрыгивая на месте, пропела она.—Хорошо нашему классу! Мы начинаем в двенадцать. Я и завтра могу спать столько же, сколько сегодня.

— Ах, проказница!—погрозив пальцем дочке, воскликнула Сурайе.—Можно подумать, что ты спишь каждое утро, как сегодня. Помощница моя милая, ты и вчера встала раньше меня!

— Надо же помогать маме, правда, папа?—Мухаббат лукаво взглянула на отца и сказала с кокетством.—Я ведь уже взрослая и понимаю, как нужно вести себя...

— Правильно, дочка! Верно, дорогая,—закивал Анвар.

И, действительно, он был очень доволен своей Мухаббат: вот какая прилежная и понятливая растет у него девочка.

— Я тоже папины дела делаю...—сказал Ганиджон, чтобы заслужить похвалу.

И это было верно. В доме всегда царил дух взаимопомощи, дух радостного труда. Восьмилетний Ганиджон уже и сейчас, если папа колол дрова—складывал полешки, если мама стирала—лил ей в корыто воду. Даже старшей сестре он охотно помогал, маленький Ганиджон.

После завтрака Сурайе предложила:

— Анвар-джон[1], давайте пошлем ребят в горы, пусть

---

1 *Джон*—душа, милый, милая.

нарвут зелени, а я пока замешу тесто и напеку пирожков с травяной начинкой.

— Да-да, папа! — обрадовались ребятишки. — Мы пойдем сейчас же, только позвольте нам!

Анвар притворился обиженным, нахмурил брови:

— А меня вы оставите дома? Я тоже хочу в горы. Я тоже хочу рвать траву...

— Ладно, папа, мы и тебя возьмем,—воскликнул Ганиджон.

— Тогда давайте возьмем и маму. Пойдем в горы все вместе.

Сказав это, Анвар подхватил на руки Сурайе и закружил ее, легко, как маленькую девочку.

— Сейчас мы пойдем, поднимемся на зеленые холмы, и будем дышать воздухом и будем валяться на траве! Мы нарвем лебеды, мяты, а когда вернемся домой— я буду готовить плов, а мама печь пирожки. И мы напечем столько пирожков, что будем есть весь вечер и все утро, и у нас останется на завтрашний вечер!..

Дети прыгали вокруг них и подпевали отцу:—«Сто пирожков, тысячу пирожков... Побежим сейчас за пирожками в горы».

А через полчаса вся семья уже собралась и, взявшись за руки, пошли по улице.

Когда они проходили мимо правления колхоза—там было оживленно. Стояло две арбы, трактор, собралось человек десять, окружив легковую машину с клетчатым ободком.

— Что это, папа, за воротничек у машины?—спросил Ганиджон.

Хоть сюда и нередко приезжали такси, Анвару стоило немалых трудов объяснить сыну, что это за машина. Но ему и в голову не пришло, что приехавшая на такси пассажирка в недалеком будущем вмешается в его жизнь, и всё пойдет кувырком.

Нет, пока всё шло как и должно быть в солнечное весеннее утро. Какой-то мальчик крикнул из толпы:

— Здравствуйте, Анвар Салимович!

И колхозники, обернувшись к нему и Сурайе, с улыбкой приветствовали их.

— Что у вас тут происходит?—крикнул через улицу Анвар.

Пожилой колхозник ответил весело:

— Праздник! Премируют лучших трактористов!

— А кто приехал из города?—спросила Сурайе.

— Не знаю. Какая-то женщина... Она у секретаря сельсовета...

Ну, что ж, во всем этом не было ничего из ряда вон выходящего. Семья отправилась дальше. Они свернули за дом сельпо и с пыльной улицы сразу попали на яркий ковер молодой травы. Дети побежали вперед, родители еле поспевали за ними. И чем дальше они шли, чем выше поднимались,—тем ярче была трава, тем чаще встречались цветы. Мухаббат сделала венок из тюльпанов и попросила отца нагнуться: «Папа, это я для тебя... Ой, какой ты стал красивый! Вот какую я тебе сделала чалму!»

Перейдя по камням через маленькую бурную речку, Сурайе расстелила прихваченный с собой палас[1], и началась веселая возня. Дети прыгали, взбирались на плечи отца, он кружил их, щекотал, подбрасывал в воздух.

— И маму, и маму тоже,—закричал Ганиджон.

— А, ну-ка, подойдите ко мне все трое!—позвал Анвар. Он обнял жену и детей, поднял и вертел с минуту, так что у всех у них закружилась голова.

— Ой, какой ты сильный, папка!—визжали дети.— Отпусти нас!..

И раскрасневшаяся, помолодевшая Сурайе тоже с восторгом посмотрела на мужа.

— Правда, ты у нас богатырь,—сказала она с улыбкой восхищения.

Да, в тот день Анвар чувствовал себя богатырем. Казалось, скажи ему: «Брось вон тот валун через горы»,— и он бросит. Чувство певучего счастья и безмятежной радости, чувство уверенности в себе было в нем так сильно, что Анвар не мог себе вообразить непреодолимого препятствия, не мог представить, что есть на свете люди и обстоятельства, способные омрачить его жизнь.

Потом он лежал на паласе, закинув руки за голову, и медленным взором оглядывал кромку снежных вершин, темные пятна лесов, бурную воду ручья, пестрые луга,—всё то, что, сливаясь в единую картину, создает в человеке чувство бесконечной красоты.

А повернув голову вправо, он увидел долину с черными полосами вспаханной земли, с цветущими садами,

---

1 *Палас*—род домотканного ковра.

с деревьями, вытянувшимися в струнку вдоль дорог, с бесконечными рядами домов. Отсюда всё казалось так хорошо организованным, так мудро сложенным, что душу охватывал восторг перед трудом человека. Легкий ветерок тронул головки маков и тюльпанов, и они нагнулись и слились в сплошной ковер. Ветер взъерошил молодую листву деревьев, собрал все дымы кишлака в одну струю и она, извиваясь, потекла в ущелье, повторяя движение весеннего ручья. Всё блестело, сверкало, переливалось, и такой восторг охватил душу Анвара, что он неожиданно запел, запел без слов...

Дети затихли и немного удивленно смотрели на отца.

— Как хорошо!—сказала Сурайе.—Как хорошо! Кажется, вся очищаешься, и нет на сердце никакого осадка. Не правда ли?

— Да, да,—задумчиво отозвался Анвар.

— Папа, вон там в небе птичка... Какая это?

Анвар еще не успел ответить, как выскочила Мухаббат:

— Жаворонок, — сказала она.—Он всегда поет о счастье. Правда, папа?

Отец не ответил, а мальчик все теребил его:

— Этот жаворонок все кружится на месте. Что он говорит, папа?

— Что говорит?—Анвар очнулся.—Ах, он действительно что-то говорит, этот маленький болтунишка... Ну, что ж, ему, наверное, нравится, что весна разукрасила всю землю цветами и что солнце приятно и ласково греет его крылышки... А еще он, вот как раз сейчас, говорит, что Ганиджон и Мухаббат вместе с папой и мамой вышли погулять и забыли, что обещали нарвать зелени для пирожков... Если они пойдут искать нужную травку, я им помогу, говорит он.

— Как? Как он может помочь, папа?—серьезно спросил Ганиджон.

— Вот он говорит: дети будут рвать травку, а я над их головой стану распевать свои песенки, развлекать их. Расскажу им о своей жизни и о своих детках, которые ждут меня в гнезде. Завтра,—так скажет жаворонок,—вы пойдете в школу, но и мои детки будут учиться. Им надо приглядеться к тому, как я летаю. Когда у вас будут экзамены, и мои птенцы будут держать экзамен...

Тут Анвара прервала Мухаббат. Она считала себя

уже большой и слушала рассказы отца со снисходительной улыбкой.

— Папа, папа,—воскликнула она,—вот вы сказали про экзамены, а я вспомнила о вашем обещании: и вы, и мама обещали, если я сдам на отлично, купить пианино...

— Да, память у тебя хорошая, дочка. Но и мы с мамой помним: отличница должна иметь пятерки по всем предметам. У нас в сберкассе собралось довольно много денег, а в твоем дневнике?.. Я там видел не только пятерки...

Тут вмешалась Сурайе:

— Она подтянется, папа. Правда, ты заслужишь, а. Мухаббат? Видела, в магазине уже стоит черный, блестящий инструмент с золотой надписью «Красный Октябрь»? Если всё будет в порядке, летом он будет у нас в комнате.

Мухаббат раскраснелась, глаза ее горели, ей хотелось сейчас же показать, какая она способная.

— Жаль, что я не взяла с собой книги!—вскричала она.—Я бы почитала вам сейчас, вы бы увидели, как я теперь читаю!

Разговор прервал Ганиджон. Он был настроен деловито.

— Ладно,—сказал он.—Видишь, жаворонок нас ждет. Идем скорее, а то ему надоест слушать, как ты хвастаешься.

— Ты думаешь, что он такой сердитый, как ты?—рассмеялась Мухаббат.—Нет, жаворонок добрый. Он нас подождет. Ну, а если даже и улетит—я ведь и сама знаю, какую зелень надо собирать.

— Идите, детки, идите! Папа вам покажет,—проговорила Сурайе. Ей хотелось остаться одной.

Когда Анвар и дети ушли, Сурайе, проводив их взглядом, легла на палас и задумалась.

О чем она думала, о чем мечтала?

В далекие девические времена она очень любила вот так, в одиночестве, наедине с природой, погрузиться в размышления и мечты. Тогда ей не приходилось ни о чем заботиться, на ней не лежала ответственность, и своим временем распоряжалась она сама. Жалеет ли она о том далеком прошлом? Может ли она пожаловаться на свою жизнь? Здесь нет зеркала, но его и не нужно. Сурайе хорошо знает—годы наложили отпечаток на ее внешность. Нет, она не старуха. Ее мать в тридцать лет казалась

гораздо старше. Женщины-таджички, скрывая свое лицо под паранджой[1], не только сами были спрятаны от мира, но и мир был закрыт для них. Однообразие и пустота жизни сгибали их. И даже в тех семьях, где женщины знали искреннюю любовь мужа и уважение детей, даже в таких семьях женщины быстро блекли, как цветок без солнца.

Нет волосы Сурайе черны, как в юности, и глаза ее сохранили живость. Ее нельзя назвать красавицей, но каждый, кто посмотрит на нее, скажет—«Какая милая, симпатичная женщина!»

Сурайе было приятно сознание того, что в школьном коллективе у нее установилась твердая репутация человека знающего, справедливого, рассудительного и уравновешенного. Спокойствие не легко дается. Его надо в себе воспитывать, тренировать ежедневно. Трудно владеть собой в классе, где три десятка малышей теребят тебя, разрывают на части вопросами и непрестанно наблюдают за тобой: не сделаешь ли ты ошибки, не дашь ли им возможность посмеяться над тобой и тем самым не утратишь ли частичку власти и уважения. Дома сохранять спокойствие еще труднее. Дома—с мужем и детьми. Спокойствие не должно перейти в равнодушие: да, так его легко истолковать. Однако, и раздражительность не приносит ничего хорошего. Раздражительность и придирчивость старят не только лицо, они старят и душу. Но сохраняют ли постоянная выдержанность и внешний покой любовь мужа?—вот о чем задумалась сейчас Сурайе.

«Счастлива ли я, довольна ли своей жизнью?»—спрашивает себя Сурайе—мать двух детей, учительница и жена еще молодого сильного и красивого мужчины. У них не совсем обычные отношения с мужем: ведь в школе он ее начальник, руководитель! Дома мужчина-таджик всегда считает себя главой и это, возможно, так и должно быть. Но как в таких условиях не потерять самоуважения, как не утратить самостоятельности характера, способности мыслить по-своему, пользоваться не только опытом мужа, но и тем, что накопила сама?

Если бы ее сейчас спросили: может ли она пожало-

---

[1] *Паранджа*—женский халат с закинутыми за спину ложными рукавами, накрывает и голову, причем лицо и грудь закрываются волосяной сеткой (чачваном). Ношение паранджи, усугублявшее рабское положение женщины в прошлом, было освящено исламом.

ваться на свою жизнь, на отношение мужа и детей, показывает ли Анвар, когда он дома, хоть чем-нибудь свое превосходство, напоминает ли разницу их положения в школе? Нет, сказала бы она, Анвар и ласков, и нежен... Во всяком случае он, если захочет, моментально становится ласковым и нежным. Он может даже пересилить себя: стоит только попросить его посидеть вечером дома, вместо того, чтобы пойти к друзьям играть в шахматы, и он тут же соглашается. Конечно, Сурайе не злоупотребляет такими просьбами. Мужчина на десятом году женитьбы это ведь не влюбленный юноша. Если теребить слишком часто нити любви, они могут и порваться. А все-таки... Ах, не стоит об этом думать, всё это мелочи. Анвар честный и хороший человек. Он не пьяница, не игрок. Никогда не замечала Сурайе, чтобы он заглядывался на других женщин. Нет-нет, он трудолюбивый человек и семьянин. Так почему же лезут эти мысли в голову?

Есть у Анвара черта характера, которая всегда беспокоила, а сейчас почему-то особенно беспокоит Сурайе: уж очень он простодушен и доверчив. Он бывал обманут, и не раз. Попадался в разные ловушки, вынужден был расплачиваться за излишнюю доверчивость. Но это не сделало его благоразумнее. Слишком легко забывает он неприятности и невзгоды. Верит людям и считает, что без веры в людей жить нельзя. В этом он прав,—людей надо любить, но не мешает и трезвая оценка каждого из них! Вспомнить хотя бы то, что произошло с Мухтаром; хорошо еще, что теперь этот человек отошел от них, не напоминает о себе. Но бог с ним, с Мухтаром. Сейчас речь не о нем.

Странное дело—в мужчинах так долго сохраняется мальчишество. Как Анвар прыгал и скакал сегодня с детьми! Как кружил ее! Это приятно и забавно, но не пора ли стать солидным...

Сурайе улыбнулась, вспомнив отца Анвара. Покойный хафиз[1] Салимджон был так же простодушен и мягок. До самой смерти он не упускал случая побалагурить, пошутить, подразнить соседей и своих близких. А если бы не болели у него ноги, наверное, пустился бы в пляс при первых звуках музыки. Салимджон говорил: «Веселый человек—душа народа!» Что ж, у Салимджона не было такой ответственности перед людьми и перед детьми лю-

---

[1] *Хафиз*—народный певец

дей. Салимджон был хозяином своего времени и своего поведения. Иное дело директор школы. Анвару следовало бы помнить, что народ ценит в руководителе важность. Конечно, приятно видеть мужа молодым, как юноша, но...

Тут Сурайе весело расхохоталась и огляделась, не видит ли ее кто-нибудь: странно, если женщина смеется в одиночестве. А расхохоталась она потому, что вообразила себе важного, солидного, бородатого Анвара. Нет, бороду он отрастит разве только, если попадет в тюрьму... И она опять рассмеялась, но тут же воскликнула про себя: чур-чур-чур! и постаралась думать о другом.

Но что-то все-таки не давало ей покоя. Что? Ах, наверное, эта история, которая произошла недавно с ее подругой Савсан-джон. Какая она была радостная и счастливая, как беззаботно жила и как ей всё легко давалось! Ей все завидовали. А сейчас?.. Как жаль ее! Почему же так случилось? Савсан-джон разошлась со своим мужем Умаром, а ведь он был для нее всем. Помнится, не только перед ней, близкой подругой, нет, везде и всюду Савсан расхваливала своего мужа: он и верен, и постоянен, и честен, и любит-то он только ее... Она даже не знает, что это за чувство такое, ревность... Уж не было ли в этом постоянном перехваливании мужа желания отгородиться от возникающих в душе подозрений?

Сурайе помнит такой случай: Савсан-джон и Умар приезжали к ним погостить. Как они были нежны друг с другом, как внимательны и вежливы! Но вот, однажды, когда Сурайе и Анвар отправились в школу и гости остались одни, Сурайе, забыв что-то, невзначай вернулась. Какая-то женщина в комнате гостей резким и неприятным голосом упрекала Умара, перечисляла женские имена... Лишь подойдя ближе, Сурайе поняла: да ведь это искаженный ревностью голос ее подруги! Умар только говорил: «Успокойся! Перестань! Всё это выдумки!» И вдруг Савсан визгливо крикнула: «А какими глазами ты смотришь на Сурайе?! Зачем только мы сюда приехали...»

Сурайе не вошла в дом. Ей стало мучительно стыдно за подругу. Конечно, она ничего не сказала ей. Но разве не удивительно, что есть такие люди: ведь в тот же вечер они были милы, спокойны, нежны друг с другом...

Да, это было хорошим уроком. Сурайе сделала для се-

бя вывод: ревность не только признак любви, ревность мелка, надоедлива и часто слепа.

И вот теперь Савсан пишет... Строки ее письма мечутся из стороны в сторону. Многие слова невозможно разобрать: «Умара сбила с пути, закружила ему голову моя же подруга. Ты ее, кажется, не знаешь. Это Латофат (провалиться бы ей!). Она работала машинистской в том же учреждении, где и Умар. Как я только могла не заметить их отношений! Всех кругом ревновала, следила даже за его посетительницами, а машинистку, свою собственную подругу не углядела. Мир померк в моих глазах, когда я узнала об этом. Что мне делать?! Милая, милая Сурайе-джон! Построй вокруг Анвара такой дувал[1], чтобы через него не мог заглянуть ни один женский глаз. Держи его в руках...»

Там было еще много жалоб и слез, в этом письме. Сердце сжимается, когда думаешь о такой беде. Бедная Савсан! Но если следовать ее советам, если превратить жизнь Анвара в сплошной скандал, если без конца мучить его подозрениями—еще скорее вызовешь его интерес к другим женщинам: кто не захочет поискать более спокойную и доверчивую? Да и можно ли жить с человеком, всё время его подозревая? Некоторые, действительно, представляют себе брак только как непрерывную борьбу за власть в доме, за свое превосходство. Нет, у них с Анваром этого никогда не будет.

Но странно устроено сердце женщины. Оно трудно подчиняется разуму. Вот ведь как хорошо рассуждает Сурайе, а в то же время ей уже досадно, что она не взяла с собой зеркальце: хочется взглянуть, правда ли помогает крем «Метаморфоза», о котором в рекламе сказано, что он смягчает кожу лица и молодит женщину. Сурайе не ревнива и умна. Но разве не видит она, что Анвар не то чтобы меньше ее любил или стал к ней равнодушен, но уже заметна в нем размеренность любви. И кажется иногда, что любит он в ней уже не женщину, а только мать его детей, хозяйку дома, товарища по работе, честного, умного и аккуратного человека. Стоит только немного позднее обычного приготовить обед, — и любви уже меньше.

«Ну-ну-ну, всё это глупости!—сказала себе Сурайе.—

---

[1] *Дувал*—глинобитная стена.

Вот они бегут ко мне—Анвар, Мухаббат, Ганиджон. Они ведь ко мне бегут, и ни к кому другому не побегут с такими радостными лицами... Родненькие мои!»

Сурайе поднялась и пошла к ним навстречу, охваченная чувством нежности.

Сердце ее билось в такт словам: «Нет, нет, что бы ни случилось в жизни, кто бы ни пришел сюда, мой Анвар-джон, мой честный и верный муж никогда не отвернется от меня. Никогда, никогда, никогда!»

И как бы в подтверждение этих мыслей, Анвар, подойдя к ней, наклонил ее голову и нежно прикоснулся губами к ямке на шее: любимое его место... Она крепко обняла мужа.

Глава 2.

Слова, которые пошли с делами врозь
И жизнь в которые вдохнуть не удалось,—
На дыню „дастамбу" похожи, как ни грустно:
Она—красавица—душиста, но безвкусна...

Носир Хисроу.

Солнце уже стояло над головой, когда они вернулись в кишлак. Анвар нес мешок с мятой, лебедой и травой джаг-джаг. Сурайе, раскрасневшаяся, обожженная солнцем, перебросила через плечо цветастый паласик: вид у нее был совсем как у курортницы, возвращающейся с прогулки.

Дети, уставшие от беготни, отстали, и теперь каждый старался всучить другому свою ношу—большие тяжелые букеты тюльпанов.

— Папа, папа,—кричал вслед отцу Ганиджон,—когда мы придем домой, правда, вы сразу начнете готовить плов? Мухаббат говорит, что вы раньше должны отдохнуть, а я хочу есть, папа!

— Неужели проголодался?—с улыбкой спросила Сурайе.

— Ой, еще как!

— Ну, раз ты такой голодный,—заговорил Анвар,—уж я постараюсь приготовить скорый плов. Вот увидишь, не успееешь ты пять раз обежать вокруг двора, как мама позовет тебя к столу. Только условие: ты один должен съесть полную тарелку плова.

— Я целого барана могу съесть!—закричал Ганиджон.

— Знаем мы твоего барана,—проговорила Мухаббат,—больше четырех ложек ты и не ел никогда.

— Ах, так, ну посмотрим, посмотрим...—Прервав самого себя, Ганиджон протянул вперед руку и закричал:—Смотрите, смотрите, какая красивая девочка идет!

— Эх, ты, глупый, как ты себя ведешь?! Кричишь на весь кишлак и показываешь пальцем,—укоризненно покачала головой сестра.—И разве ты не видишь, что это тетя, а не девочка. У ее туфель высокие каблуки.

— А почему у нее такое короткое платье?—спросил Ганиджон.

...Худенькая и действительно похожая на девочку, молодая женщина в цветастом шелковом платье шла навстречу, что-то весело болтая и то и дело поворачивая головку направо и налево, совсем как это делают птички. Ее сопровождал секретарь сельсовета Мухтар Махсумов—высокий, молодой, с модно подстриженными усиками и весьма щеголеватый, ни дать, ни взять—артист сталинабадского оперного театра. Он поминутно наклонялся к своей спутнице и, учтиво улыбаясь, прислушивался к ее щебету.

— Господи, опять Махсумов,—упавшим голосом шепнула мужу Сурайе.

* * *

Ох, уж этот Махсумов!

Где еще сыскать такого умелого танцора, такого остроумца, такого знатока женских сердец? Он умеет не спать всю ночь, петь, играть, пить, а наутро—как стеклышко.

У кого еще из местных жителей есть такой великолепный, новейшего образца, радиоприемник с проигрывателем, как у Махсумова? И коллекция пластинок? В колхозном клубе,—а надо сказать, что наш кишлачный клуб один из лучших в районе,—до сих пор нет такой многообразной по своим возможностям машины, как магнитофон. Махсумов привез себе из Ташкента магнитофон Днепр-5. Известно, что он и этим не очень доволен. Говорит, что как только выберется в Москву, непременно раздобудет такую заграничную штучку, что все от зависти лопнут.

Кто эти «все», на которых равняется наш Мухтар? Кого он считает образцом? На этот вопрос не так-то легко ответить. Придется вернуться к нему позднее, когда мы еще лучше узнаем характер и привычки этого молодого человека.

Что же касается магнитофона, то этот аппарат уже сыграл роль в жизни кишлака: приобщил часть нашей молодежи к музыкальным достижениям Запада. Стоит только попросить Мухтара—он запустит ленту с песенками из заграничных кинофильмов. Музыка в доме Мухтара не прекращается иногда до утра. К ней в кишлаке привыкли, как к вою собак.

Нельзя не признать—Мухтар Махсумов за три года, что он живет в нашем кишлаке, сумел стать одним из влиятельнейших людей. Только вот вопрос: каково его влияние?

Небезинтересно также узнать: откуда он такой, Махсумов? Как развился и как привился здесь, на кишлачной почве? Он ведь человек с высшим образованием. Единственный в районе секретарь сельсовета с таким высоким образовательным цензом.

Что ж, этим можно гордиться. В самом деле—плохо ли, если все работники наших сельских органов власти будут начитаны, воспитаны, будут разбираться в законах и постановлениях?! Правда, наш Мухтар окончил не юридический факультет, а педагогический, но это не так уж существенно. Если есть у человека склонности к административной деятельности, почему бы ему и не переменить профессии.

Он был сперва, по окончании института, направлен в Лолазор на место заведующего учебной частью школы-десятилетки. Работал вместе с Анваром. Как работал? В том-то и дело, что им не удалось сработаться, хотя Анвар сам хлопотал о том, чтобы Махсумова прислали в его школу.

Анвар знал еще отца Мухтара. Помнил и любил этого мягкого, образованного, всеми уважаемого в городе человека.

В прошлом судебный следователь, отец Мухтара к тому времени, с какого помнил его Анвар, перешел к адвокатской деятельности. Он был первым юристом-таджиком, хорошо изучившим советское законодательство о труде.

Вот почему популярность его среди рабочих, служащих, кустарей и членов нарождающихся в то время промысловых артелей была очень велика. Уважение к отцу Мухтара люди перенесли и на семью его, и на единственного сына. Мухтар рос баловнем. Отец, мать, соседи—все ласкали и одаривали сладостями хорошенького, резвого мальчугана. Живость характера, находчивость проявлялись в нем с детства. Он привык к похвалам и успеху. Ах, как хотел его отец, чтобы мальчик не только получил высшее образование, но и достиг таких высот в науке, о каких он сам мог только мечтать!

Мухтару всё давалось очень легко. Да это и немудрено. Ведь он был сын интеллигентного человека, с младенчества впитывал в себя культуру: любовь к музыке, к книгам, к театру, к кино. То, на что другие дети тратили много усилий, Мухтар воспринимал мгновенно. Может быть от этого и родилась в нем беспечность, самоуверенность, лень. В третьем и четвертом классе он учился уже значительно хуже. То и дело пропускал занятия, а чтобы оправдаться перед отцом и матерью—выкручивался, лгал. Отец в нем души не чаял и смотрел сквозь пальцы на все его проделки. Прощал ему резкость и грубость только потому, что его восхищала в сыне изобретательность и остроумие, какими он сопровождал свои шалости.

Мухтар еще не успел закончить начальной школы, как отец его тяжело заболел и вскоре умер. Мать Мухтара была женщиной слабовольной, безумно любившей мужа и своего хорошенького мальчика. Теперь же, после смерти главы семьи, она перенесла весь пыл своей души на ребенка. Можно сказать, что ради него, и только ради него, она послушалась советов соседок и вторично вышла замуж: как расти мальчику без отца?!

Абдулло, отчим Мухтара, до 1929 года был мелким торговцем. Теперь он заведывал продовольственным ларьком. Предприимчивый и ловкий человек, он чувствовал себя и на государственной службе, как рыба в воде: перенес сюда свои повадки лавочника. Пасынка он взял под свое крылышко: решил сделать из него хорошего продавца. Кто знает, уж не потому ли он женился, чтобы получить бесплатного помощника? Бывало, уедет на базу или еще по каким-нибудь делам, а Мухтар остается за прилавком. Благодаря этому, процент выполнения плана в ларьке Абдулло был наиболее высоким во всем квартале. Другие

вынуждены были на часы своего отсутствия запирать ларьки, а тут маленький помощник делал большие дела...

Каким же это «большим делам» учил толстый солидный торгаш маленького шустрого мальчугана? Вот, например, мука. В школе, на уроках физики ничего не говорилось о том, что достаточно поставить ведро воды в небольшом закрытом помещении, где хранится мука, на горящую керосинку, и муки станет больше. Нет, конечно, не больше—просто она впитает испаряющуюся влагу и станет сыроватой, станет тяжелее. Абдулло умел преподносить свои уроки с веселой усмешкой добродушного человека. Он ловко разжигал в мальчике жадность. Давал ему деньги, приобретенные жульническим путем, и приобщал тем самым пасынка к своим нечистоплотным делишкам.

Обычно, принято думать, что отчим, так же как и мачеха, не может вызвать привязанность и любовь ребенка. Удивительное дело—Мухтар горячо полюбил Абдулло, видел в нем лучшего своего учителя, относился к нему, как к божеству. Мухтар не любил школу, не любил готовить уроки. Абдулло сумел ему внушить, что знания, которые дает школа, помогут потом в жизни. Помогут даже в ловкости, в быстром счете... Он привил ему мысль, которая позднее стала философией Мухтара: знания нужны для того, чтобы стать сильнее других и богаче других, для того, чтобы жить в свое удовольствие и уметь обходить препятствия, а если нужно, то и законы. Добрый человек Абдулло: он мог даже сделать за сироту его домашние задания. Он никогда не выгонял мальчика из комнаты, когда приходили гости. И если мать хотела увести Мухтара, Абдулло снисходительно говорил ей:

— Что ты понимаешь в жизни, моя милая? Я сделаю из твоего сына настоящего мужчину, самостоятельного и обеспеченного. Пусть слушает, пусть набирается ума-разума.

А когда Абдулло оставался наедине с Мухтаром, он подмигивал ему и говорил:

— Ну, что могут понять женщины, даже самые добрые и милые? Твоя мама—хороший и умный человек, но, видишь, даже она не может отличить дунганского риса от казахского, первого сорта от второго... Да и вообще женщины...

Восприимчивый мальчик, как губка, впитывал всё, что

говорил ему отчим. В том числе—и его отношение к женщинам. Ведь Абдулло их любил, и даже так любил, что то и дело возвращался домой глубокой ночью.

Однажды, в доме Абдулло произошел большой скандал. Не дай нам бог гнева доброго человека! Мать Мухтара вдруг обрела самостоятельность. Она набросилась на мужа с упреками. Люди ей сказали, что мальчик, ее единственный сын, обвешивает покупателей.

— С сегодняшнего дня ноги его не будет в твоей проклятой лавочке!—кричала она.

Абдулло отшучивался, а между тем хитро выспрашивал, кто ей сказал об этом. Нитка оказалась длинной и крепкой. Удивительная вещь—из этого разговора с женой Абдулло сумел вытянуть очень важные для него сведения. Попался Мухтар, но работники милиции по этому маленькому случаю уж верно сумели определить, что в ларьке не всё благополучно... В ту же ночь Абдулло бесследно исчез.

Шесть лет жил Абдулло в их доме. За это время Мухтар прошел своеобразную школу, помимо советской. Абдулло оказал на него не только плохое, но и хорошее влияние. Мальчик при нем вышел если не в первые ученики, то во всяком случае в устойчивые средние. И в девятнадцать лет, когда умерла его мать, он уже учился на первом курсе педагогического института.

Врожденные способности и здесь помогли ему занять не последнее место; к первому он никогда не стремился. Товарищи—а надо сказать, что товарищей он выбирал из среды наиболее беспечных и веселых ребят,—полюбили Мухтара. Он был щедр. Он мог быть щедрым: ведь ему в наследство остался дом, хоть и небольшой, но все-таки дом с садом. Студенты жили на стипендию, а бедный сиротка Мухтар, кроме стипендии, мог получить кое-какие «доходы» от продажи ковра, сюзане, ставшего лишним цветастого шелкового одеяла. Было ли это расточительством? Нет, оказывается Мухтар был последователен и по-своему расчетлив. Он считал, что нужно построить быт на новой, западной основе. Ему не нравились таджикские обычаи. Побывав как-то в Ташкенте в гостях у своего бывшего отчима, который был освобожден по амнистии—бегство не спасло его от тюрьмы—Мухтар пришел в неописуемый восторг от того, как жила семья заведующего тем магазином, где Абдулло устроился теперь начальником отдела.

* * *

В весенний день, такой же как сегодня, три года назад возле школы остановился грузовик и из кузова вылез молодой человек в запыленном ватнике. Он расплатился с шофером, и машина покатила дальше. Директор школы увидел через окно чем-то знакомое лицо и вслед за этим услышал, что молодой человек называет его фамилию. Гость? Откуда?

Оставив ватник в гардеробной, в кабинет директора вошел застенчивый, скромно одетый юноша и нерешительно остановился возле двери.

— Могу ли я надеяться, что вы меня припомните?— спросил он, учтиво улыбаясь.—Я—Махсумов... Да, да, Мухтар Махсумов, отца которого вы, кажется, хорошо знали.

Удивительно это свойство человека: даже самые строгие и принципиальные люди нередко охотно предаются воспоминаниям о каких-то жизненных пустяках, забавных подробностях, стоит им только встретить не то, чтобы товарища детства или юности, а всего лишь соседа или даже продавца того магазина, в который они часто заходили несколько лет назад. И что особенно странно: если эта встреча произойдет в том же самом городе, где вы жили и откуда не уезжали, вы просто поклонитесь друг другу, тем дело и кончится. Но, встретившись хотя бы в двадцати пяти километрах от родного города, вы уже радуетесь «земляку».

Анвар, действительно, помнил и уважал давно умершего старика Махсумова. Однако, он ничуть не уважал продавца их уличного ларька. Он и тогда слышал, что маленький Махсумов беззастенчиво обвешивает покупателей. Но сейчас Анвар обо всем этом забыл. Перед ним стоял человек с «нашей улицы». Анвар пригласил его к себе, познакомил с женой. Анвар с сочувствием слушал рассказы Мухтара о том, как умерла его мать, как трудно ему было учиться, как он страдал от своего сиротства и как теперь страдает от того, что комиссия по распределению намерена направить его бог весть куда, чуть ли не в Гармскую область, оторвать от могил отца и горячо любимой матери. Тут еще выяснилось, что молодой Махсумов учится в том же институте, который семь лет назад закончил Анвар. Опять поток воспоминаний: «А очень ли состарился Набиев? Еще когда я учился, ему, бедняге,

трудно было читать лекции, потому что зубной техник плохо сделал ему протез...» «А помните,—отвечал вопросом Мухтар,—забавную привычку Набиева чесать нос перед тем, как вызвать девушку? Мы все знаем—раз чешет нос, значит, вызовет кого-нибудь из студенток... Да, он и сейчас еще преподает, такой милый старикан. Его у нас все любят... Кстати, он ведь тоже член комиссии по распределению. Если бы вы ему написали... Но, что говорить, это, наверное, трудно...»

Вот, оказывается, зачем приехал Мухтар! Он узнал в институте, что семь лет назад там учился такой способный, деятельный студент, как Анвар Салимов. Теперь Салимов уже директор десятилетки, тогда как многие его однокурсники все еще работают рядовыми преподавателями.

— Не думайте, что я хочу вам польстить! Желание поработать под руководством настоящего, любящего свое дело, опытного педагога—вот, что руководит мною.

Старое и верное оружие... Кто из нас не попадается в ловко расставленные сети похвал и преклонения?

На следующий день, провожая Мухтара в город, Анвар пожимал ему руку и говорил:

— Значит, условились. Вы будете в нашей школе заведующим учебной частью. В районо я сумею договориться. А старику Набиеву сегодня же напишу.

А еще через несколько месяцев Мухтар Махсумов перебрался в Лолазор.

Теперь-то Анвар знает—Махсумову нужно было устроиться неподалеку от города. Этим и только этим объяснялась его страсть к Лолазору и педагогической деятельности именно тут. Знает Анвар и то, каков характер бывшего завуча их школы. Целый год они сидели в одном кабинете. Впрочем, Мухтар Махсумов, действительно, только отсиживал положенные часы в школе, а всю его работу приходилось делать самому Анвару. Нельзя сказать, чтобы у Махсумова в школе не было никаких успехов. Молодые учительницы охотно выслушивали его комплименты, а одна из них так увлеклась остроумием завуча, что потом приходила на уроки с заплаканными глазами...

Короче говоря, с Мухтаром Махсумовым школе пришлось расстаться. И вот что удивительно,—(а может быть и не удивительно),—Махсумов, кажется, ничуть не жалел

о том, что его педагогическая карьера оборвалась так скоро.

Но ведь известно, что человек, окончивший пединститут, должен отработать в системе народного образования положенный срок—три года. Это препятствие для находчивого человека несерьезно. Секретарь сельсовета—выборная должность. Махсумова... избрали.

Глава 3.

Ты должен различать, кто друг тебе, кто недруг,
Чтоб не пригреть врага в своих духовных недрах.
Где неприятель тот, который в некий час
Приятностью своей не очарует нас?

Носир Хисроу.

...И вот он идет навстречу—улыбающийся, веселый секретарь сельсовета Мухтар Махсумов. Рядом с ним какая-то приезжая... Хорошенькая, молодая. Уж не новая ли это подруга нашего сердцееда? А может быть невеста? Вряд ли. Когда Мухтар еще был близок Анвару и они считались чуть ли не друзьями, завуч неоднократно повторял свой принцип: «Нет у меня в стаде козы, нет и заботы о ней».

Анвар, тем более Сурайе, хотели бы пройти мимо незамеченными. И уж во всяком случае у них не было охоты разговаривать с этим человеком. Но не так-то просто отвернуться, если знакомый еще издалека кричит:

— Судьба нам благоприятствует! Мы пошли искать вас, а вы—тут как тут. Здравствуйте, здравствуйте! Вот, познакомьтесь, пожалуйста. Этот приезжий товарищ, эта молодая и, как видите, очень приятная женщина—гость нашего селения и прежде всего ваш гость,—он говорил как опытный конферансье, представляющий публике новую артистку:—Инспектор областного отдела народного образования Зайнаб Ка-би-ро-ва! Приехала не для ревизии, но для того, чтобы помочь вам освоить новейшие методы и так далее, и тому подобное.

Удивительно, что он еще не закричал «ура», столько восторга было в его голосе.

«Это, наверное, та самая женщина, которая приехала в такси, — мелькнуло в голове Анвара.—Что-то я ее не

помню по облоно... Надо думать—недавно приступила к работе...»

Кабирова протянула ему маленькую изящную руку и так улыбнулась, так просияла, что и Анвар, и Сурайе, и дети не могли не ответить ей доброй улыбкой.

Теперь, когда она была близко, Анвар смог заметить, что, несмотря на молодость, на лице девушки лежали тени усталости. В движениях ее чувствовалась неуверенность, стесненность. Он приписал это неопытности и подумал, что зря назначают на инспекторские должности таких вот, только что окончивших институт, девушек.

Зайнаб была хороша, даже очень хороша. Что делало ее такой? Ведь если приглядеться—сразу обнаружишь, что черты лица непропорциональны: тоненький носик и полные сочные губы; суженный лоб и крутой кругленький подбородок. В целом же лицо было и чрезвычайно миловидным и каким-то по-детски пугливым. Словом, не черты делали его красивым, а выражение. Особенно живы и хороши были плутоватые миндалевидные глаза. Они меняли выражение лица почти поминутно. Они улыбались, удивлялись, восхищались, но чаще всего в них горело жадное любопытство и внимание, доброжелательное внимание ко всему, с чем они встречались.

По тому, как Сурайе легко и просто заговорила с приезжей, Анвар понял, что очарование гостьи действовало и на нее.

Они шли все вместе. Зайнаб обняла за плечи детей, и они заглядывали ей в глаза, ждали ее слов, хотя она еще ни разу к ним не обратилась.

Анвар, с трудом заставив себя увидеть в приезжей официальное лицо, сказал как мог серьезнее:

— Сегодня нет занятий. Мы не знали, что вы приедете и широко пользуемся своим выходным днем. Может быть и вы будете сегодня отдыхать? Конечно, мы можем, если вы очень спешите, пойти в школу, поднять нужные вам документы, материалы...

— Нет, что вы!—прощебетала приехавшая и очень мило покраснела.—Я... Я думала... я потому и приехала в воскресенье, чтобы воспользоваться случаем и после городской сутолоки... я вот просила товарища Махсумова... но товарищ Махсумов меня разочаровал. Я думала, что легко найду комнатку или койку в доме колхозника...

— Наш колхоз строит гостиницу, такую большую и

красивую,—вмешалась в разговор Сурайе,—что я боюсь, как бы строительство не затянулось еще на несколько лет. Были запроектированы даже колонны. Понимаете?

Зайнаб расхохоталась. Звонко, весело.

— Жаворонок! Жаворонок!—закричали вместе Мухаббат и Ганиджон.

— Какие же вы молодцы!—воскликнула Зайнаб и опять покраснела, на этот раз, кажется, смущенно.—Как вы только могли узнать, что меня еще совсем недавно называли... Вернее, один человек называл «Жаворонком»...

Оборвав себя, она продолжала другим тоном:

— Я потому так рассмеялась, что вспомнила свой родной город. Там тоже до того разрослись архитектурные излишества, что колонны запроектировали даже в ветеринарной больнице! Так вот, значит, чему я обязана своей бездомностью в этом милом местечке с таким нежным названием Лолазор...

Тут, неожиданно для самой себя, Сурайе воскликнула:

— Пожалуйста к нам. У нас просторно. Мы сумеем освободить комнату.

— Нет-нет-нет, что вы! Как можно?—голосок Зайнаб звенел, словно колокольчик.

Анвар даже не понимал, о чем идет разговор. Он не мог отделаться от ощущения, что слышал когда-то этот милый, переливчатый, волнующий душу, голос. И тогда он тоже слышал от кого-то это сравнение с жаворонком. Кто-то сказал тогда: «А сейчас будет петь мой жаворонок». Странно... Не так уж часто Анвар слушал в домашней обстановке женское пение. А в театре, разумеется, никто не мог назвать артистку птицей. К этому еще примешивалось ощущение чего-то неприятного, какой-то душевной грязи...

—...муж никогда не отказывал никому в гостеприимстве,—услышал Анвар конец фразы, сказанной Сурайе.

Он смутился. Заметив это, Сурайе засмеялась и поторопилась объяснить:

— Вот, когда вы поближе познакомитесь, то узнаете, что товарищ директор точен, пунктуален и чрезвычайно внимателен. А товарищ семьянин бывает так рассеян, что может перепутать мальчика и девочку.

Все посмеялись немного, и тут заговорил Мухтар:

— К сожалению,—сказал он, и в голосе его появилась строго-официальная вежливость, — несмотря на всё

желание, мне, как холостяку, никак невозможно приютить у себя нашу уважаемую гостью.

Это было и без того ясно. Анвар отметил про себя неестественность тона, звучавшую в речи Мухтара. «Ах, да что там—просто рисуется перед хорошенькой... Да и бывало ли, чтобы Мухтар оставался когда нибудь самим собой? Вечно играет какую-нибудь нужную ему роль»,—подумал Анвар. Он почему-то до сих пор не поддержал приглашение жены. Никто еще никогда не имел основания заподозрить Анвара в отсутствии радушия и гостеприимства. Обычно, он первым звал к себе, а сегодня Сурайе... Впрочем, так оно и должно было быть. Ведь он директор: приезжая имеет право контроля. Если она остановится в его доме, недоброжелательные люди могут увидеть в этом повод для разговоров.

Зайнаб как-то притихла и потускнела. Казалось, она даже растерялась.

— Товарищ Махсумов,—произнесла она, растягивая слова.—Вы говорили, что есть один педагог, у которого...

— Бакоев?... Да, говорил, но там...

— У товарища Бакоева заболела жена,—перебила его Сурайе.—Право, вы нас обижаете. Видите, мы собрали вкусную зелень, сейчас я буду печь пирожки, а товарища директора мы заставим варить плов, а вы... вам надо прилечь и отдохнуть.

— Да, да, да,—поддержал с воодушевлением Мухтар.—Не отказывайтесь от гостеприимства Сурайе-хон. Я уверен, вы не встречали еще такой чудесной хозяйки. Я имел счастье пользоваться гостеприимством этого дома.

Тут дети схватили за руки Зайнаб и с веселым хохотом побежали вперед, заставив и ее прибавить шагу.

— К нам, только к нам!—кричали они.

— Этого инспектора я впервые вижу,—вполголоса сказал Анвар.

— Я посмотрел ее документы,—поспешно ответил Мухтар.—Она жаловалась, что послали ее чуть ли не насильно. Облоно готовит какой-то отчет для центра. Мобилизовали почти всех сотрудников. Ей поручили проверить методику и еще что-то... Думаю, что сама Зайнаб расскажет вам всё подробнее. Массу времени пришлось на нее потратить. Я собирался в город, но теперь уже, наверное, нет смысла. Поздно...

— Кстати,—добавил он,—выяснилось, что мы зна-

комы. Да и вы должны помнить ее отца. Он был председателем облисполкома. Несколько лет назад умер Кабиров.

— Фамилия, действительно, известная,—ответил Анвар,—но когда я жил в городе, мне с высоким начальством общаться не приходилось... Но вот мы почти и дома ...Прошу к нам.

Сухостью тона Анвар показал секретарю сельсовета, что его обязанности на этом закончены: приезжую он устроил, о чем еще разговаривать?

И Мухтар понял: надо уходить. Он поклонился Сурайе, пожал руку Анвару и крикнул Зайнаб, которую ни на шаг не отпускали дети:

— Я вас покидаю. Рад был встретиться с вами. Если понадоблюсь,—заходите, всегда к вашим услугам,—и не ожидая ответа гостьи, он повернулся и пошел в обратную сторону. Гордый, независимый человек. Административный деятель.

Глава 4.

Любила я тебя, глупа была,
Не знала, что на свете столько зла,—
Неверному дала воды—и вот
В руке моей пустая пиала.

(Из народной поэзии).

В окруженном дувалом дворе сельсовета стоит флигелек-времянка. Когда-то тут жил сторож, старый Олимбобо, но после того, как он уехал к сыновьям, секретарь сельсовета занял его жилье—очень удобное для холостого человека помещение: просторная комната и кухонька. А сторож? Что ж, сторожа можно найти приходящего. Пусть сидит в конторе, возле телефона. Там есть диван. И уж если позвонит начальство из района—не нужно бежать через весь двор. Это нововведение дало возможность Мухтару Махсумову, секретарю сельсовета, устроиться по собственному вкусу.

Те, кто приходят к нему в вечерние часы, стучат в небольшую калитку в дувале, возле флигелька. Им не надо беспокоить сторожа. Удобно и то, что окна флигелька выходят в тенистый двор-сад. Любопытным взглядам сюда

не легко проникнуть. Ну, и молодец же этот секретарь! Голова!

В один из весенних вечеров, в то самое время, когда Анвар председательствовал на колхозном партсобрании, гостья его дома, инспектор облоно Зайнаб Кабирова полулежала на тахте в той самой комнате, которая принадлежала раньше старику Олим-бобо.

Ах, если бы Олим-бобо заглянул сейчас в свое прежнее жилище! В комнате царил странный дух полуканцелярского, полугостиничного уюта. Стандартный конторский стол, оклеенный дерматином, с металлическим инвентарным номером на самом видном месте. На нем стекло и чернильница, стопка газет мирно соседствуют с одной пустой и с одной недопитой бутылкой коньяка. И тут же, в не очень-то хорошо отмытой стеклянной банке из-под рыбных консервов, веточка цветущей яблони—символ чистоты и непорочности. Тарелка с кусками мяса, разломленная на куски лепешка, два граненых стакана, пестрый фарфоровый чайник, пиалы.

Возле стола два шатких скрипучих гнутых стула, взятых из конторы. А на двери, совсем как в сталинабадской гостинице, портьеры зеленого жатого плюша. В углу горка одеял на таджикский манер. Ниша, в которой секретарь держит свой туалет, задернута полосатой дешевой тканью. На стене большое зеркало в черной раме, в которую воткнуты фотоснимки. Но самым замечательным, впечатляющим, здесь являлся овальный, великолепно полированный рижский столик и на нем два аппарата: радиоприемник Даугава и магнитофон Днепр-5. Оба, в отличие от книжной полки, тщательно вытерты, блестят и отражают свет голой стопятидесяти-свечовой лампочки. Описание будет не полным, если забыть о большом, доставшемся Мухтару по наследству, текинском ковре, опускающемся на тахту. Рисунок ковра скрыт под множеством фотографий киноактеров, а главным образом актрис.

Два небольших оконца в тот вечер были тщательно закрыты — одно цветастым ватным халатом, другое — модным шелковым дамским плащом.

Мухтар стоит посреди комнаты. На нем зеленая полосатая пижама, верхняя пуговица расстегнута. Он наливает в граненый стакан коньяк и говорит, отвернув лицо к стене:

— Кто сказал, что я ревную?... — сделав глоток и

резко повернувшись к Зайнаб, он смотрит на нее с бешенством.—Разве не правда, что с той минуты, как ты его увидела, душа твоя воспламенилась?!

Даже в гневе Мухтар не может обходиться без пышных выражений, без кокетства фразой. То и дело он бросает косой взгляд на свое отражение в зеркале. Он нравится себе даже взволнованным. Да и взволнован ли он? Может быть и это игра? Игра с Зайнаб, игра с самим собой.

— Да, да, да, — ты переменилась! Что осталось от преданной мне женщины? Где восторженные глаза, где прежняя нежность? Признайся — любовь закралась в твое сердце... Как же я был глуп, устроив тебя в дом этих людей!

Зайнаб не отвечала. Она была задумчива. Глаза, хоть и смотрели прямо в лицо Мухтару, как бы не видели его. Косы Зайнаб были растрепаны, платье измято, краска с губ стерта. Но это не портило девушку. Состояние задумчивости, а, вернее, душевного оцепенения, как бы освобождало ее от необходимости отвечать на укоры Мухтара. Раньше, в городе, когда он упрекал ее в чем-нибудь, бранил или показывал свое равнодушие — Зайнаб плакала. Очень легко появлялись тогда слезы на ее глазах. А теперь? Неужели и впрямь она освобождается от чар этого человека? А может быть это всего лишь минутное охлаждение? Уж очень несправедливо всё, что говорит сейчас Мухтар.

А он продолжал:

— Почему ты так холодна со мной?.. Где былая ласковость? Где пламя страсти?.. Я требую ответа, слышишь? — Он резким движением протянул Зайнаб стакан с коньяком: — Выпей за меня, за нашу любовь, за наше будущее.

Зайнаб взяла стакан. В глазах ее затеплился огонек интереса. Кажется, она удивилась.

— За наше?.. Будущее?..—Она уже прикоснулась губами к краю стакана, но потом решительно отвела руку, поставила стакан на стул и, поднявшись, заговорила:

— Мухтар, Мухтар, почему я должна вам верить? Когда-то, давно, я выпила первый раз в жизни эту ужасную гадость, только потому, что вы сказали: «Выпьем за наше будущее». Я это хорошо помню. Сейчас вы притворяетесь ревнивым... Но ведь вы отлично знаете, как и

зачем я сюда приехала. Каких вам еще нужно уверений? Я здесь, я с вами и ни с кем другим. Вот вы только что сказали, что я не такая, как раньше. Но разве вам неизвестно сколько я пережила? Сколько мучений выпало на мою долю...

— Дорогая, прелестная! — Мухтар сел на тахту и притянул к себе Зайнаб. — Говори, говори, я снова слышу слова истинно-любящей женщины...

— Говорить? — Зайнаб вырвалась из его объятий и вскочила с тахты. Она даже забыла надеть туфли. — Говорить? — повторила она и глаза ее непривычно прищурились.

Мухтар еще не видел ее такой.

— Хорошо же! Я скажу! Вы только притворяетесь взволнованным. На самом деле вы спокойнее, чем вот это,—она постучала по столу и зазвенели стаканы,—чем вот это сухое дерево! Подумайте только, в какое я попала положение. Чем все это должно кончиться? Вы ищете моего тепла, огня женщины — что вам еще нужно? Да и нужен ли вам этот огонь, это тепло?... Люблю ли я вас? Никого другого я никогда не любила, но вы правы — я начинаю сомневаться в том, что чувство, которое влечет меня к вам — любовь.

Мухтар с изумлением смотрел на Зайнаб. Он любовался ею. Он даже предположить не мог, что эта маленькая хрупкая, изящная девушка, безропотная и нежная, может так измениться.

— Стойте, стойте, стойте так! Не шевелитесь! Ну я прошу вас, пожалуйста, и еще прищурьте свои прелестные глаза. Вы сейчас не Зайнаб — вы Наргис... Чудо перевоплощения! Талант!

Зайнаб знала — если Мухтар начинал величать ее на «вы», он непременно сравнивал ее с кем-нибудь из киноактрис. Раньше ей это очень нравилось. Раньше ей нравились и вычурность его речи, и красивость движений — манера резко закидывать голову, прежде чем произнести фразу. Сегодня, кажется, впервые, она стала прозревать: полно, да так ли уж всё это украшает настоящего человека... И что такое настоящий человек?

Заметил ли он по выражению ее глаз, по суровой складке на лбу, что в настроении Зайнаб происходят какие-то перемены, что мысль ее бьется над разрешением какой-то загадки? Трудно сказать! Но он сделал то, что

делал во всех подобных случаях: подошел к девушке вплотную, крепко, не обращая внимания на сопротивление, обнял и стал покрывать ее лицо бесчисленными поцелуями.

— Зайнаб, Зайнаб, Зайнаб,—повторял он шопотом,— ты моя и только, никому не отдам своего Жаворонка! Никакой Анвар, никакой Гаюр-заде не уведет ее от меня!

Не разжимая объятий, он умудрился включить магнитофон. Согревались лампы в музыкальном ящике. Согревалось и сердце девушки. Мухтар почувствовал это по тому, как исчезало сопротивление, как вся она становилась мягче, податливее. Он пустил ленту и стал кружить Зайнаб между стульями, тахтой, столом.

— Ты говоришь, что я не люблю. Ты не веришь мне. Считаешь меня спокойным и холодным. Но, пойми, дорогая Зайнаб, могу ли я быть иным? Могу ли я тебе в этом моем, еще столь неустроенном, месте обещать то, чего ты хочешь? Ты говоришь, что я притворяюсь. Это правда. Я притворяюсь спокойным, притворяюсь равнодушным. Имею ли я право тебя, дочь известного всей республике человека, назвать своей женой и поселить в подобной обстановке?! Гордость и самоуважение не позволяют мне это сделать. Разве здесь должна протекать наша жизнь? Терпение, терпение!.. Всё будет хорошо, Зайнаб! Ведь ты знаешь — нигде не найду я такой стройной фигурки, таких ласковых рук, такой изящной шейки, таких выразительных глаз, такого очаровательного голоска...

Странное дело, на этот раз Зайнаб хоть и смягчилась, хоть и появилась в выражении ее лица привычная ласковость, — музыка, танцы, объятия — всё это не оказало прежнего властного и гипнотического действия. Она сняла со своего плеча руку Мухтара и опять заговорила. Голос ее, правда, не был резким, но слова... Да, о словах надо подумать...

— Я уже не девочка. И вы знаете — не девушка. Имя моего покойного отца страдает гораздо больше от того, что я, не задумываясь, бросаю всё и еду сюда, к вам, чем от возможных материальных невзгод. Я вам писала. Вы знаете, что не инспекторская деятельность привела меня сюда, и не Анвар, и не его школа... Нам надо решать, Мухтар!

Лицо Мухтара стало серьезным. Но только на минуту.

Мысль мелькнула в глазах и тут же исчезла. А с губ сорвалась грубоватая, привычно хвастливая фраза:

— Цель вашего приезда, конечно, ясна — притягательная сила моей личности заставила вас приехать!

— Если у человека нет сердца, то притягательной силы у него тоже нет.

—Так, а дальше? — самоуверенность и наглость Мухтара снова (в который раз!) привели Зайнаб в замешательство. Забыв о гордости, забыв о хорошо продуманной системе поведения, она вдруг раскисла, как девчонка, и жалобным тоном стала повторять давно уже надоевшие ему слова:

— Я была глупенькой, легкомысленной школьницей. Была проста и доверчива. Вы опутали меня, и теперь я очутилась... Есть ли у вас хоть немного совести?! Вот я здесь, у вас. Я рискую всем, и своей честью, и своим общественным положением... Сколько это будет продолжаться? Сколько мне еще ждать вас? Почему вы решили, что будете мне нужны только после того, как станете обеспеченным человеком? Я не боюсь нужды. Да и какая это нужда: магнитофон, приемник, ковры... У вас даже свой дом в городе, Мухтар!

— Какое тебе дело до моего дома?!—вырвалось у Мухтара, но он сейчас же вернулся к полушутливому тону:

— Ах, я вижу, прелестная пери готова ради любимого спать на соломе... Ты сама себя не знаешь, Зайнаб! Ты ведь избалованная штучка. Так я тебе и поверил, что ты сможешь долго прожить в кишлаке. Терпение и еще раз терпение!

— Но ведь я должна дать ответ Гаюр-заде,—проговорила Зайнаб полушопотом, в котором уже слышались слезы.

— Ну что ж, не просвещение, так что-нибудь другое.

От этих слов Зайнаб совсем приуныла. Она села и уставилась в одну точку.

— Ясно одно,—уверенным голосом заключил Мухтар,—женитьба сейчас невозможна. Пусть уладятся твои дела, пусть я избавлюсь от необходимости жить в этой дыре. Вот тогда... И, кроме того, ты ведь знаешь, для женитьбы нужны деньги и деньги немалые. А у меня денег нет. И нужно очиститься от неприятностей.

— Разве их так много?—протянула Зайнаб.

— Да, много. Но прежде всего—твои вопросы...— стоило Мухтару начать разговор о том, что связывалось в его представлении с учреждениями и какой-либо государственной или общественной деятельностью—речь его становилась похожей на пункты инструкции:—Необходимо отрегулировать вопрос с просвещением. Возникает реальная угроза того, что из-за тебя заведующего облоно снимут с работы...

Зайнаб подавленно молчала. Решив, что она сдалась, уступила, Мухтар вернулся к тому с чего начал: стал разыгрывать ревность.

— ...Ну, вот, значит, очиститься от городских неприятностей. И... от кишлачных увлечений. Надо закрыть счет с Анваром. Или я или Анвар!—воскликнул он с хорошо разыгранным достоинством.—Я вас, женщин, прекрасно изучил: и рубин достанется и друг не огорчится.

И тут Зайнаб, ни слова не говоря, торопливо надела туфельки, кое-как попудрилась перед зеркалом, накинула косынку, сорвала с окна плащ и резким шагом пошла к двери.

Мухтар молча следил за ней. Он был ошеломлен. Никогда ничего подобного не позволяла себе в его доме ни одна девушка, ни одна женщина. Зайнаб отодвинула щеколду и распахнула дверь. Бог знает, зачем она еще постояла секунду-две в проеме открытой двери. Мухтар не сделал попыток ее удержать. И только когда она была уже у калитки, он догнал ее, повернул к себе.

— Скажите... Скажи...

— Уже поздно.

— Десяти еще нет.

— Не провожайте меня. Я сама найду дорогу.

— Анвар дома?

— Не знаю,.. Кажется он на партсобрании.

— Скажите же, скажи правду,—с нарастающим волнением, искренним или деланным—кто знает,—прошипел Мухтар.—Вам нравится Анвар?

— Что мне женатый человек?—отрезала Зайнаб и, повернувшись, ушла в темноту улицы.

Он крикнул ей вдогонку:

— Завтра к семи вечера я приготовлю плов.

Молчание было ему ответом.

Глава 5.

Встают облака голубые над синей равниной морской:
Пловучие думы влюбленных, забывшие сон и покой.
Ты скажешь: нежданные льдины помчались по тихой реке.
Взревели там черные вихри, там вздыбился смерч золотой

Абульхасан Фаррухи.

Красная луна поднялась над горами. Огромная и мрачная, она давала так мало света, что Зайнаб, взглянув на свои золотые часики, ничего не смогла разобрать. А может быть это слезы заволокли ее глаза? Вот и рука дрожит... И ноги какие-то не свои: они плохо ей подчиняются. Что с ней?... «Что с тобой, Зайнаб?—обратилась она сама к себе.—Ведь только что ты смеялась, была сильной. Куда ты сейчас пойдешь? Где твой дом? Где твой мир? С кем ты? И что будет с тобой?»

Хорошо, наверное, здесь, в Лолазоре. Весенний ветерок, теплый и ласковый, приносит людям радость. Журчание арыков и шелест молодой клейкой листвы тополей—всё это так приятно, но... только тому, кто чувствует себя на месте, кто знает, что он не отвержен людьми...

На улице пустынно. Вдали, за густой сиренью, светит огонек сельского клуба. Оттуда доносятся переливы дутарных струн. Может ли Зайнаб прийти к этим простым людям, к труженикам полей—хлопкоробам, садоводам, трактористам, животноводам? Может ли радоваться вместе с ними—танцевать, петь, играть? Кто она и кто они?..

Она—маленькая, хрупкая, изящная двадцатидвухлетняя женщина из большого города. До нынешнего вечера она была убеждена, что стоит выше этих провинциалов. В самом деле, разве знают девушки и парни, те, что сейчас в клубе, что такое мода? Разве умеют они оценить колдовство хорошей портнихи? А маникюр? Смешно сказать—сегодня в школе Зайнаб видела молодую учительницу. Та выступала на педсовете и горячо говорила о необходимости политехнизировать занятия по физике. Ведет такой сложный предмет, но вы только взгляните на ее руки. Лучше уж совсем не делать маникюр, чем раскрашивать свои ногти такой грубой краской. И завиваться здесь тоже не умеют. Конечно, очень возможно, что девушки, да и женщины, из тех, что поинтеллигентнее, ездят завиваться в город. Лолазор—один из ближайших к

областному центру кишлаков. Ездить-то они ездят, эти женщины, эти учительницы, эти клубные работницы, но по наивности попадают к каким-то бездарным парикмахерам... Фу, какая безвкусица!

Выбрать хорошего портного, хорошего сапожника, парикмахера, маникюршу—совсем не просто. Немаловажный признак культуры и в том, как молодая женщина ходит, как держит голову, как умеет управлять выражением своего лица. Что греха таить, пока Зайнаб не познакомилась с Мухтаром, и она неловко сутулилась, и она предпочитала просторные шелковые платья. Глупая застенчивость не позволяла ей взглянуть прямо и свободно в лицо любому встречному мужчине. А хорошим манерам она смогла научиться только побывав в таких крупных городах как Сталинабад и Ташкент. Мухтар обратил ее внимание на то, как ходят, как держатся артистки. Многое она смогла позаимствовать и в кино, когда смотрела вместе с ним заграничные фильмы.

Мухтар был ее первым настоящим учителем. Сперва помог ей преодолеть отставание в школе, помог постичь премудрости алгебры, геометрии, химии, а спустя некоторое время стал учить ее и другому...

«Мухтар, Мухтар!—шептала Зайнаб.—Кто ты, а, Мухтар?! Ты для меня всё, и ты это знаешь, и я не могу без тебя, но...»

Кишлачная улица была пустынна и хотя окна многих домов светились, но дома эти прятались в глубине садов. Тишина приносила на улицу шорохи жизни: приглушенные голоса, далекий лай собак, случайный всплеск крыльев птицы в ветвях дерева. Странное дело—в привычной сутолоке городской улицы, затерявшись в толпе, Зайнаб чувствовала бы себя гораздо спокойнее. Здесь ей всё время кажется, что за ней следят... Где-то скрипнула калитка, уж не ее ли высматривает какая-нибудь недружелюбно настроенная учительница: ох, какие взгляды бросают на нее и в школе, и в правлении колхоза, стоит ей только появиться!

Еще несколько шагов. Десять. Пятнадцать... Ее как магнит держит дом Мухтара. Без Мухтара страшно. Он ей сейчас и друг, и отец, и брат. Как же решиться на то, чтобы уйти совсем? Вот он бросил ей вдогонку—«Приходи завтра к семи, приготовлю плов...» Фраза простая—такую может сказать муж. Да-да, муж-повелитель. Мух-

тар не верит, что она, его Зайнаб, способна всерьез взбунтоваться. Девушка прижалась спиной к чистой коре старого тополя. Уж не прячется ли она от кого-нибудь? Нет, конечно. Разве она преступница? Чего ей бояться?..

Впервые в жизни Зайнаб начинает понимать—она, действительно, боится. Боится жизни. Боится простых людей: учителей, счетоводов, трактористов, веселых женщин, с песней возвращающихся с колхозных полей. Она боится даже себя, потому что никогда не может сказать в какую сторону шагнет, если никто не будет вести ее за руку.

Смутно ощущает она, что в свои двадцать два года ей пришлось пережить едва ли не больше, чем такой милой, простой и уверенной в себе женщине, матери двух детей, как Сурайе. Счастье, которое она, Зайнаб, познала, радости, испытанные ею—сейчас повернулись к ней другой стороной. Что-то случилось. Что-то поколебало ее веру в те «истины», которые так самоуверенно подносил ей ее Мухтар. Счастье, наслаждение вдруг оказались горем. Да еще таким горем, которым и поделиться ни с кем невозможно.

Зайнаб и себе еще не хочет признаться, что на раздумье и на переоценку своей жизни толкнул ее действительно этот директор кишлачной школы... Нет-нет, она не станет даже в мыслях называть его имя... Мухтар оскорбляет своей нелепой ревностью то естественное чувство восхищения перед этим человеком, которое сегодня утром охватило ее. Смешно даже предполагать, что в ее восхищении перед силой слов, перед педагогическим умением директора есть хоть крупица влюбленности. Если бы подобное могло появиться в ее сердце—разве стала бы она рассказывать Мухтару! Право, оскорбительно, что Мухтар совершенно не допускает возможности возникновения у нее каких-бы то ни было мыслей и чувств, помимо женских, помимо любовных.

Сегодня утром, пользуясь своим инспекторским правом, Зайнаб посетила урок литературы в восьмом классе. Анвар расказывал о Белинском. О неистовом Виссарионе. Он начал с того, что подробно описал дворец русского вельможи. Перед Зайнаб, как и перед восьмиклассниками, возникло убранство великолепных дворцовых анфилад. Стильная мебель, яркие ткани, хрустальные люстры... Выпукло и ярко, деталь за деталью, рисовал словами Ан-

вар. Вот проплыли по навощенному паркету в плавном танце великосветские пары: высшее офицерство в расшитых золотом мундирах и белоснежных лосинах. Декольтированные красавицы, украшенные брильянтами и рубинами... Уверенная поступь вельмож и важный говор царских чиновников. Подавляющая роскошь, принижающая человека пышность этикета...

Слушая Анвара, Зайнаб забыла на время о том, что она—инспектор областного отдела народного образования, в некотором роде начальство этого преподавателя литературы. Поймав себя на том, что она во все глаза смотрит прямо в лицо учителю, и даже кажется открыла рот от изумления, Зайнаб вздрогнула и подтянулась. Но минуту спустя, она увлеклась еще больше.

Анвар стал рассказывать о каком-то странном, стеснительном и плохо одетом человеке, бог знает как попавшем на празднество во дворец вельможи. Человек этот старался быть незамеченным. Он забился в уголок и вел тихую беседу в узком кружке молодых людей. Разодетые в бархат и шелка высокомерные лакеи разносили на серебряных подносах вина и фрукты. Даже они казались гораздо более значительными и солидными, чем этот пришелец из чужого мира. Кто же был он? Почему впустили его сюда, во дворец? Почему слушают его? И почему идет в его сторону сам хозяин—представительный, седовласый камергер дворца его величества?

Худенький, невзрачный человек—это литературный критик Виссарион Белинский, властитель дум передового общества того времени. Его пригласили сюда, чтобы узнать, какие идеи волнуют университетскую молодежь, почему сила слова возвышается над силой знатности и богатства. Хозяин дома, весьма образованный и самоуверенный, заведя разговор с Белинским, говорит с ним тоном высокомерным и полупрезрительным. Он хоть и удостаивает его беседой, но совершенно убежден: роскошная одежда, бесчисленные ордена и позументы, гордая осанка—всё это подавит разночинца Белинского. Хозяин с пренебрежением отзывается о революционном писателе и мыслитете Радищеве.

Он уверен,—Белинский не решится ему возразить.

Разговор привлекает внимание многих. Прекращаются танцы. Смолкает музыка. Всё больше и больше гостей собирается возле того места, где возник спор. Щеки

Белинского внезапно покрывает лихорадочный румянец. Белинский поднимается с кресла. Глаза его горят. И вот полилась его речь. Голос крепнет и нарастает. Слова сливаются в фразы, сильные своей убежденностью и правотой. Великий критик и мыслитель—он бросает в лицо вельможному собранию смелые обвинения. Он разоблачает всю фальш этих рабовладельцев и защитников тирании. И сразу тускнеют брильянты, превращаются в жалкие тряпки бархат и шелк. Уверенность и важность сменяются растерянностью и испуганными улыбками. Белинский как бы вырастает перед всеми этими сановными пустышками. Мысль торжествует, торжествует правда. Белинский знает—перед ним кучка захвативших власть и богатство ничтожеств. За ним, за пределами этого дворца,—вся трудовая страна, весь огромный порабощенный, но поднимающий голову, народ. И это дает ему, маленькому и невзрачному, право и силу высмеивать и обвинять власть имущих...

Прозвенел звонок. Урок кончился. Обычно мальчики и девочки не могут усидеть на месте, когда их зовет на перемену звонок. Сейчас они, а вместе с ними и Зайнаб, как зачарованные следят за Анваром. И хотя Анвар совсем не похож на Белинского, в его словах звучит та же сила и то же могущество, которые поднимали дух предшественника революции. Это—сила народа, это любовь к правде, это умение зажечь правдой души человеческие.

Разве Зайнаб и сама не училась? Разве никогда не слышала она хорошего педагога? Нет, конечно, в школе, а потом в техникуме, в учительском институте, были настоящие—умелые и страстные—преподаватели. Зайнаб была другой. Раздумье слишком редко трогало ее душу, слишком легко ей жилось... Да, слишком легко!

Глава 6.

Был в школу царевич отправлен для выучки встарь.
В оправе серебряной доску вручил ему царь.
И золотом с краю отец начертал для юнца:
„Обида учителя лучше, чем нежность отца".

Муслихиддин Саади.

Что же это за такая особенная жизнь могла сложиться у маленькой Зайнаб? Уж не принцессой ли она была до той поры, пока не вступила в должность инспектора областного отдела народного образования?

Нет, Зайнаб была дочерью, правда, единственной дочерью,—батрака. Конечно, в тот год, когда она родилась, не было уже баев и помещиков на таджикской земле. Не было и батраков. Но отец ее и тогда еще носил прозвище Очил-Батрак. И он даже гордился этим прозвищем, хотя в год рождения Зайнаб уже давно был одним из самых известных и почитаемых в республике председателей колхоза. Дело в том, что раньше, чем занять такое высокое положение, Очил долгие годы батрачил и у богача-бая, и у кази-судьи, и у муллы. Он был так беден, что не смел и мечтать о том, чтобы обзавестись семьей. Часто рассказывал председатель колхоза Очил о том, как он женился, как в жены ему, забитому батраку, досталась городская девушка.

Вот эта давняя история:

В отдаленный кишлак, где батрачил в тот год Очил, тайно привезли из Самарканда девушку под паранджой, дочь ремесленника, Ойшу. Сам хозяин Очила позвал его как-то вечером в свой дом—оказал честь.

— Люди, с которыми я связан дальним родством,— сказал он Очилу,—привезли тебе невесту. Она молода и, кажется, даже красива. Она грамотна—училась в советской школе...—сказав это, хозяин презрительно сплюнул.

— Вы смеетесь надо мной и над моей бедностью! Кто из городских пожелает отдать свою дочь за человека без гроша в кармане?!..

— Бери и не рассуждай! А деньги на свадьбу я тебе дам. Припишу к твоему долгу. Отработаешь,—сказал хозяин и со смехом добавил:—Радуйся, что берешь одну, а не с готовым ребенком!

Тогда смеялся хозяин. Тогда смеялись и другие богатеи кишлака: они были уверены, что Очил взял к себе в дом опозоренную.

Но прошло время и пришел черед Очила смеяться. Девушку привело к нему большое несчастье. Она, да и сам Очил, не могли знать, что судьба свела их для радостной жизни.

Как же всё-таки получилось? Ойша, дочь сапожного мастера, одной из первых на их улице пошла учиться в советскую школу. Это не понравилось мулле и старым свахам, гадалкам и заклинательницам. Ойша стала бельмом в их глазу. И страшная месть ждала девушку.

Ойшу оклеветали. Все наиболее влиятельные и близкие люди уверили отца и мать, якобы, их дочь, Ойша сошлась в школе с одним из старшеклассников. И сам этот старшеклассник—развращенный, испорченный мальчишка—согласился за деньги подтвердить, что он соблазнил девушку.

Родители Ойши были темными людьми: они поверили клевете и отказались даже слушать свою дочь. И вот, чтобы избавиться от семейного позора, они решили отправить Ойшу в отдаленный кишлак и там выдать замуж хоть за последнего нищего.

Да, Очил-Батрак был очень удивлен, когда после свадьбы увидел, какая прелестная жена досталась ему. И Ойша вскоре убедилась, что не только в городе, и не только среди ученых есть умные и деятельные люди. Ее муж, Очил, стал с ее помощью постигать грамоту. Позднее, когда начали организовываться колхозы, Очил одним из первых выдвинулся в ряды самородков-организаторов.

С того самого дня, как общее собрание крестьян постановило выгнать из кишлака баев и объединиться в одну дружную артель хлопкоробов,—с того самого дня Очил-Батрак шел и шел в гору. Сперва член правления колхоза, через год он уже стал его председателем. Немало трудностей пришлось ему преодолеть. Но он был человеком с железным характером и с цепкой памятью. Нельзя сказать, чтобы он получил сколько нибудь полное образование. Все же грамоту он постиг хорошо, а в том, что касалось выращивания хлопка, мог бы научить кое-чему и профессоров.

Долго не было у них с Ойшой ребенка. Но вот в 1934 году, когда Очилу уже стукнуло сорок лет, родилась у них девочка,—слабенькая и хрупкая Зайнаб.

Очил все эти годы считал, что счастье к нему пришло вместе с появлением Ойши. Все эти годы он, как мог, баловал молодую жену: наряжал, старался избавить от тяжелой работы, делал подарки и дом обставил по ее вкусу—на городской лад. У них всегда было много медной и стеклянной посуды. Ойша любила сюзане и паласы—Очил, как только начал получать обильные трудодни, накупил ковров и паласов, обвесил все стены сюзане. Одеял в доме было так много, что малечькая Зайнаб могла прыгать и кататься на них сколько угодно.

Через четыре года после рождения дочери всеми уважаемый, известный даже за пределами республики, много раз награжденный раис Очил Кабиров был выдвинут на еще более высокую должность: он стал председателем областного совета депутатов трудящихся.

Что же, и здесь Очил-Батрак оказался на месте. Интересы народа всегда были ему близки и дороги. Он завоевал популярность своей заботой о людях города и кишлаков...

Но, как это иногда случается, в семье у Очила, незаметно для него самого, начались какие-то странные, не очень хорошие явления.

Их было только трое—Очил, Ойша и маленькая Зайнаб. Но дом, большой городской дом, с садом, в котором они теперь жили, мог вместить гораздо больше людей. И такие люди появились—тетушки, бабушки, а когда не хватало своих тетушек и бабушек, к ним присоединялись соседки. Кто не знает, сколько труда надо положить, чтобы приготовить хорошее угощение? А кому, кому—председателю Облисполкома, даже в трудное военное время, приходилось часто принимать гостей: то приехавших в областной центр земляков, то командированных из республики...

Все тетушки, бабушки и добровольные помощницы-соседки, да и гости тоже, увидев маленькую Зайнаб, старались ее приласкать, сказать погромче (так чтобы слышали папа и мама!) какое-нибудь приятное слово. Ее, конечно, засыпали подарками. Ее одевали в шелк, ей покупали лучшие игрушки. Зайнаб не было еще и семи лет, когда в доме появилось большое черное пианино, крышку которого она могла открыть, когда угодно, и тыкать пальчиками в клавиши, вызывая смех и радостные восклицания у всех, кто при этом находился в комнате.

Учителя музыки не нашли. Забыли, а может быть посчитали, что это рано. Пианино стало просто большой дорогой игрушкой. А рядом с ним жила другая игрушка—худенькая девочка с черными косичками—Зайнаб.

Зайнаб не ходила в детский сад. Зачем это ей? У нее есть всё: и своя комната, и своя няня, а сад, вот он, виден из окон, в нем достаточно места, чтобы бегать и резвиться. Нужны подруги—найдутся. Их можно собрать хоть со всей улицы. Кто же из девочек откажется прийти в такой дом? У Зайнаб есть велосипед и несколько дорогих кукол,

которые папа привез ей из Москвы. Куклы эти лежат на кроватях, у них даже есть свои столики и стульчики.

Но вот настала иная пора. Зайнаб, которая всегда делала в своем доме всё, что ей придет на ум, которой было позволено ездить верхом не только на могучей шее папы, но и на гостях,—эта самая Зайнаб пошла в обыкновенную школу. И тут вдруг оказалось, что так же как и другие дети, она должна приходить вовремя, готовить уроки, подниматься из-за парты, когда ее имя назовет учитель. Рядом с ней сидел мальчик—семилетний сын сапожника из артели. Зайнаб скоро постигла разницу между своим положением и положением этого малыша. Она еще не умела читать и не торопилась этому научиться, но уже ясно видела, что мальчик приходит в школу пешком, а ее привозят на автомобиле... Разве это не значит, что она не такая, что она особенная?

Ее мама—Ойша, как-то рассказывала, что дедушка, то-есть мамин папа, живший когда-то в Самарканде, тоже был сапожником, только дедушка-сапожник, по рассказам мамы был усто[1]. Зайнаб не знала, что значит это слово и все же дедушка казался ей не простым сапожником, а могучим, красивым, и всеми уважаемым, как папа.

Когда Зайнаб принесла домой первую двойку, мама, тетушки и бабушки подняли страшный переполох. Зайнаб плакала в три ручья. Тетушки и бабушки тоже вытирали себе глаза, горевали вместе с ней. А вечером, когда пришел папа, ему сказали, что учительница у Зайнаб нехорошая, что она придирается к ребенку.

Папа сам поехал к директору школы. Что уж они там в кабинете говорили—осталось тайной для Зайнаб. Но с того самого дня она стала приносить только пятерки и редко-редко четверки.

Девочки из класса не взлюбили ее. Мальчики — часто дразнили. Зайнаб почувствовала себя отвергнутой. Сперва она страдала от этого. Но дома ее утешили. Одна из тетушек объяснила Зайнаб:

— Они тебе завидуют.

Это могучее слово «завидуют» стало теперь на долгие годы школьной жизни заклинанием, объясняющим всё. Ведь правда, было чему завидовать. Зайнаб живет

---

[1] *Усто*—мастер.

в большом доме, а многие другие ученики и ученицы—с большой семьей в тесных комнатах. Зайнаб, вернувшись домой и сбросив ненавистную коричневую форму, наряжалась то в одно, то в другое шелковое, сшитое в ателье платьице. А ведь были у них в школе девочки, у которых самым красивым платьем была как раз темная и строгая форма. Зайнаб в выходные дни ездила с папой и его сослуживцами на большом открытом автомобиле в горы. А многие мальчики и девочки мечтали хотя бы по городу прокатиться в легковой машине, хотя бы просто посидеть на ее пружинистом мягком сиденье. Зайнаб, как только появлялось у нее желание, могла пойти в кино, в театр, ее брали даже на вечерние представления, ведь мама ходила в директорскую ложу. А для большого количества ребят посещение кино, особенно театра, было редким и радостным праздником! Как же здесь не завидовать?!— разъясняла тетушка...

Конечно, Зайнаб не могла ничего не делать в классе, а некоторые предметы ее по-настоящему увлекали. Она полюбила рисование, хорошо пела. На уроках родного языка она с большой фантазией и очень выразительно пересказывала содержание прочитанного.

А в дни школьных празднеств ее наряжали, как куколку, и тогда она вызывала искреннее восхищение всех учителей, девочек и мальчиков грацией и легкостью танца. Все это приносило ей мимолетный и яркий успех. Ей еще не исполнилось и одиннадцати лет, а она уже замечала, как мальчики бросали на нее восхищенные взгляды. В ней родилось милое и забавное кокетство. Ей нравилось быть на виду. Это вызывало в душе ее гордость, но гордость капризную, обидчивую.

Иногда и гордость может быть помощником. Только это плохой помощник. Гордость требует—учись хорошо, отвечай так, чтобы никто над тобой не мог посмеяться. И Зайнаб, действительно, отвечала всегда самоуверенно, а случалось и дерзко. Учиться она стала тоже лучше, чем в первых классах. И учиться ей было легко, но если преподавательница указывала ей на ошибки, Зайнаб гордо отворачивалась и замолкала. Тут гордость становилась упрямством: она ведь знала, что ей простят то, чего не прощают другим. Учительница не решалась вызвать ее отца или мать.

Но вот, незадолго до окончания четвертого класса,

произошел случай, который надолго запомнился девочке. Их учительница Лютфи тяжко заболела. Ее заместила старая Саодат-бегим. На груди у Саода-бегим блестел орден Трудового Красного знамени, и дети не могли не видеть, что даже заведующий учебной частью и сам директор говорят с ней очень почтительно. Весь класс был настороже перед ее первым уроком. Одна лишь Зайнаб старалась показать всем, что ей совершенно безразлично, кто будет сидеть за преподавательским столом.

Она оказалась очень мягкой, эта старушка с орденом—заслуженная учительница Саодат-бегим. Проверяя знания своих новых учеников, вызывая их по очереди к доске, она даже помогала им улыбкой, шуткой. Но если видела, что мальчик или девочка совсем не подготовились, не выучили урока,—она делалась строгой и лицо ее становилось грустным. Казалось даже, что ученик или ученица обидели ее своим незнанием.

И вот пришел черед Зайнаб. Старая учительница вызвала ее и, ласково улыбнувшись, раньше чем спросить урок, задала вопрос:

— Скажи, Зайнаб, почему у всех девочек темные банты, а у тебя розовый?

Зайнаб, конечно, не могла не знать, что по школьным правилам повязывать светлые банты не разрешалось. Но их прежняя учительница давно свыклась с особым положением Зайнаб и словно не замечала этого нарушения.

Кокетливо поведя головкой, и обращаясь скорее ко всему классу, чем к учительнице, Зайнаб ответила:

— Светлый бант мне идет!

Сказав это, она бросила дерзкий взгляд на учительницу, как бы говоря: «Что, съела? Будете знать, как придираться!»

Зайнаб шел уже двенадцатый год. Развитая, неглупая девочка понимала: учительница может и резко ее оборвать и выгнать с урока. Она была бы даже рада этому—так хотелось ей показать перед всем классом свою смелость и безнаказанность.

Но случилось иное. Учительница даже не отчитала ее, только спросила:

— А что это такое, объясни мне, Зайнаб? Я не очень хорошо понимаю значение слова «идет».

Зайнаб была застигнута врасплох. Что ответить? Ах,

как трудно объяснить это слово! Где она его слышала? Его чаще всего повторяла заведующая ателье мод, когда приносила маме новое платье на примерку.

— Ну, что же ты молчишь?—ласково подгоняла Саодат-бегим.—Как же ты произносишь слова, значение которых тебе непонятно?!..—напустив на себя строгость, она продолжала другим, холодным и неприязненным, тоном:—У всех девочек в классе одна форма. Это сделало государство, чтобы показать—здесь, в школе, вы все равны и ни одна из вас не должна выделяться одеждой...—обратившись к классу старая учительница неожиданно звонким голосом спросила:—А вне школы, как вы думаете, люди в Советской стране все равны?

И класс дружно ответил: «Все! Все! Все!»

— Садись, Кабирова,—тихо сказала учительница.

Но Кабирова не села, а выбежала из класса и громко на всю школу хлопнула дверью.

Вечером, вернувшись с работы, отец позвал Зайнаб в свою комнату. Она и сама с нетерпением ждала папиного прихода. Она даже звонила ему по телефону на службу, но не застала. Хотела пожаловаться ему на старую учительницу, зазнавшуюся и грубую.

— Папа, папа, папочка!...—с рыданием кинулась к отцу Зайнаб.

Но отец не посадил ее, как обычно, на свое колено и не погладил по головке. Он предложил ей, будто она гостья, сесть напротив себя и долго молчал, вперив в нее грустный взгляд. Зайнаб не понимала, что с ним, почему он так неласков с ней. Наконец он произнес:

— Ну, рассказывай, доченька. Только знай—я видел сегодня твою новую учительницу. Мы сидели втроем—товарищ Аминов, я и Саодат-бегим... Да, да, встретились в кабинете у товарища Аминова.

Аминов был единственным человеком, имя которого произносилось в городе с еще большим уважением, чем имя ее отца. Товарищ Аминов—Зайнаб это знала—был первым секретарем обкома партии. Зайнаб, пионерка, сама подносила ему рапорт их школьной дружины, когда он приехал к ним однажды на сбор вместе с секретарем горкома комсомола. Товарищ Аминов мог вызвать к себе в кабинет кого-угодно, даже ее папу. Но как это могло случиться, что он вызвал и папу и какую-то учительницу одновременно?!

Торопясь и заикаясь от волнения, Зайнаб рассказала, как ужасно обидела ее перед всем классом Саодат-бегим. Придралась, старалась подчеркнуть ее фамилию, чтобы все дети поняли, что дело касается не только ее, но и тебя, папа...

Зайнаб как будто бы и не врала, но сама чувствовала, что в ее рассказе есть какая-то стыдная ложь. Ей хотелось попросить прощения, покаяться в том, что она посмела дерзко ответить пожилой и всеми уважаемой учительнице. Но ложная гордость и упрямство не позволяли ей это сделать.

— Ты ничего не утаила?—спросил отец всё еще строгим голосом.

И тут Зайнаб бросилась плашмя на диван и так горько заплакала, что сейчас же ворвались в кабинет и мама, и тетушки, и бабушки. Сквозь плач Зайнаб слышала, как мама говорит отцу:

— Ты должен помнить, как мучительно прошло мое детство, сколько страданий вынесла я из-за школы. Меня оторвали от учения, надели на меня паранджу. Неужели же школа должна стать мучением и для нашей маленькой девочки? Я была в школе! Я хорошо поговорила с этой учительницей!..

— Ну, тогда все понятно,—сказал было папа, но мама перебила его и говорила, говорила, говорила, а папа только изредка произносил одно слово: «Послушай...» Но мама не слушала. Понять ее было невозможно, и если бы не такое настроение, Зайнаб не могла бы удержать улыбки: ну при чем тут, в самом деле, паранджа? Пусть, пусть, пусть говорит! Папа, ее любимый папочка, не может не смягчиться. Он выгонит эту противную учительницу, отнимет у нее орден, накажет...

Тут Зайнаб неожиданно для самой себя вскочила с дивана, подбежала к отцу, обняла его за шею и быстро-быстро заговорила:

— Ну, папочка, ну, родненький, пойдем сейчас к товарищу Аминову. Он ведь добрый, он меня любит. Помнишь, как он хвалил меня, когда мы были у него в гостях и я танцевала? А сейчас я расскажу ему всё сама, также как и тебе. Он поверит, он поймет...

Папа сам понес ее на руках в кроватку, сам уложил и укрыл одеялом и долго гладил по голове... Утром он повез ее в другую школу.

А через некоторое время Зайнаб увидала в газете, в черной рамке, сообщение о смерти заслуженной учительницы Саодат Рахимовой.

«Так тебе и надо»,—со злостью подумала Зайнаб и погрозила портрету пальцем. Но минуту спустя, она увидела, что на этой же странице есть большая статья. Она еще не знала тогда, что такие статьи называются некрологами. В этой статье было написано, что Саодат-бегим воспитала много передовых людей республики, что она прошла большой и тяжелый путь от батрачки до заслуженной учительницы, путь, похожий на тот, что прошел и ее отец.

Было там сказано еще и то, что Саодат-бегим была женщиной очень доброй, чуткой и внимательной, что дети—все без исключения—любили ее и уважали. Но больше всего удивилась Зайнаб, увидев, что под статьей подписались и товарищ Аминов, и Очил Кабиров, ее отец!

Как же так? Почему он хвалит ту, которая причинила ей столько зла, ту, из-за которой ей пришлось перейти в другую школу? Почему отец хвалит ее?...

Так вошло в жизнь маленькой Зайнаб первое раздумье. Но тогда она была слишком мала, чтобы задумываться очень надолго.

Глава 7.

Пришла... „Кто?"—„Милая".—„Когда?"—
„Предутренней зарей".
Спасалась от врага... „Кто враг?"—
„Ее отец родной".

Абульхасан Рудаки.

... Сколько Зайнаб простояла тут на темной кишлачной улице, возле дерева, погруженная в воспоминания? Пятнадцать-двадцать минут, а может быть и меньше. Конечно, за это время она могла бы уйти далеко. И вдруг она услышала знакомую мелодию. Пел слабый, но очень приятный голос. И песенка была знакомая. Песенка жаворонка—так ее прозвал Мухтар... Зайнаб просияла: ведь это же она сама поет! Мухтар включил ленту магнитофона с ее голосом, записанным еще в городе. Поняв это, Зайнаб умилилась: так вот он какой, Мухтар-джон! Значит, он ее действительно любит. Он только притворяется

резким и грубым. Стоит ей уйти и он грустит, вспоминая ее...

... А в это время Анвар выходил с партсобрания. И по пути домой он тоже услышал песенку жаворонка. Снова в памяти его возникло воспоминание—одновременно приятное и неприятное, во всяком случае, тревожное. «Чей это голос? Кто это поет?..»

Но песенка вскоре прервалась, и Анвар так и не вспомнил...

...Давным-давно, когда Мухтар еще работал в школе, он пригласил на один из своих холостяцких вечеров Анвара. Вот тогда-то он и включил ленту с песенкой, напетой Зайнаб. Вот тогда-то он и сказал: «Это поет мой жаворонок». Сказал, наверное, желая похвастать. В тот вечер много пили; приятели Мухтара, приехавшие из города, рассказывали какие-то непристойные анекдоты. Анвар несколько раз порывался остановить болтливых молодых людей. Хотел строго предупредить:— «Я не позволю в моем присутствии говорить всякие пошлости!»—но деликатность и душевная мягкость воспрепятствовали этому. Все это уже давно позабыто. Мухтар от него теперь далек. И все же осадок остался.

Да, Мухтар всюду, где появлялся, оставлял свои липкие следы. Не только девушки и молодые женщины, разгадав его, радовались тому, что наконец-то порвали с ним. Юноши, да и взрослые мужчины тоже, если сами были чисты душой и честны, разобравшись в том, что представляет из себя этот человек, уходили от него со вздохом облегчения.

Не всем удавалось это безболезненно. Мухтар знал человеческие слабости, умел им потакать. Вот и сейчас он ведь не просто включил магнитофон. Нет. Он открыл окно и пустил динамик на полную мощность.

Догадывался, что Зайнаб бродит где-то здесь неподалеку и грустит, а если так, значит услышит, а услышав умилится.

Когда кончилась песенка, Мухтар немедленно выключил музыкальный ящик и побежал к своей потаенной калиточке. Так действуют охотники, поставившие приманку. Приоткрыв калитку, он оглядел улицу. К этому времени луна уже поднялась высоко—было хорошо видно. Зайнаб стояла у дерева. Мухтар хотел ее окликнуть, но тут же

заметил одинокую мужскую фигуру, идущую посреди улицы в сторону Зайнаб.

Анвар! Увидев его, Мухтар притаился: «Посмотрим, посмотрим, что будет дальше...»

Вот Анвар уже возле того дерева, где стоит Зайнаб... Она вскрикивает от неожиданности... Анвар что-то говорит, она что-то отвечает...

Как ни прислушивается Мухтар, слов он различить не может. Он видит—Анвар и Зайнаб сближаются, идут рядом, проходят мимо него... Куда? Они определенно удаляются от своего дома!.. Одну только фразу, сказанную Анваром, успевает услышать Мухтар:

— Так значит, и вы тоже?! А я думал, что только я люблю...

И он, и она рассмеялись, а потом заговорили тише. Мухтар дал им возможность отойти шагов на тридцать и, прячась в тени, двинулся следом за ними.

Они свернули за дом сельпо и медленно пошли через ярко освещенный луг к купе деревьев,—туда, где шумел маленький водопад и лежало несколько валунов, заменяющих влюбленным Лолазора скамейки.

Мухтар не решился идти за ними дальше. Да и зачем? Всё и без того ясно!..

Мухтар поворачивает назад. Сперва он идет быстро, почти бежит. Куда он торопится? В голове его, наверное, созрел план... Но вот он замедляет шаг, трет рукой лоб и, наконец, остановившись, осматривается по сторонам. Да, оказывается и такие люди, как он—энергичные, решительные—иногда вынуждены всерьез обдумать свои поступки и намерения. Опрометчивость может еще более осложнить жизнь... И вправе ли он, представитель власти, один из наиболее заметных в кишлаке людей, бежать по центральной улице в такое время? Нет, нет—солидность прежде всего!

Теперь, если кто-нибудь и видит Мухтара, этот невольный свидетель его вечерней прогулки может сказать: секретарь сельсовета медленно, заложив руки за спину, бредет по улице от лавки сельпо к школе. Может быть, у него голова болит. А, может быть, он думает над тем, как лучше выполнить финплан квартала. Ведь все дела сельсовета сейчас на нем—председателя вызвали на несколько дней в Сталинабад.

Что верно, то верно. Мысли в голове секретаря сель-

совета так и кишат. «Ну и положеньице!—повторяет он про себя.—Не торопись, не торопись Мухтар! Не поддавайся чувству! Взвесь всё!»

И вот он начинает взвешивать. Зайнаб влюбилась в Анвара? Ну, нет—это несерьезно. И можно ли допустить, что Зайнаб здесь, неподалеку от его дома, назначила свидание Анвару? Глупости, конечно. Просто случайно встретились.

Что же означает, в таком случае, фраза, сказанная директором школы: «Так значит и вы тоже?! А я думал, что только я люблю...» Мухтар—опытный волокита. Уж он-то знает: так, между прочим, на ходу, в любви никто не объясняется. Обыкновенный разговор о любви к природе, или к вечерним прогулкам при луне. Начало... Да, конечно, для начала романа такая фраза годится. Но он, правду говоря, не верит и в то, что кокетка Зайнаб способна всерьез полюбить скучного провинциального учителя.

И все-таки—вот удивительно!—когда Мухтар вспоминает, как Зайнаб идет рядом с Анваром через освещенный луной луг, сердце его начинает ныть, а мускулы рук напрягаются. Ревность? Вот еще! Он давно решил, что человек, который хочет чего-нибудь добиться в жизни—стать богатым и независимым,—такой человек не имеет права ни на безрассудную любовь, ни на ревность. Конечно, и любовь, и ревность могут служить ему в качестве оружия. И оружие это действует, обычно, безотказно. Если это только, разумеется, чувство другого человека—женщины или мужчины, все равно.

Абдулло, отчим, однажды рассказывал: даже в лагере, среди преступников, находятся чудаки, которые из любви готовы на самые отчаянные поступки. Одна молодая растратчица влюбилась в «пахана»[1]. А что сделал «пахан»? Он не отверг этого чувства. Недаром он был наиболее ловким и опытным из жуликов. Он использовал любовь девушки. Обещал, что если ему удастся вырваться на волю, он возьмется за честный труд и женится на ней. Отбыв свой срок, девушка поступила на работу, поселилась неподалеку от лагеря, стала носить «пахану» передачи. А потом?... Потом любовь ее так увлекла, что она помогла «пахану» бежать... Ну, что ж, он бежал,—тут Абдулло, помнится, весело засмеялся: «пахан» убежал

---

[1] *Пахан*—жаргонное словечко, означающее — Главарь шайки.

не только от наказания, но сбежал и от влюбленной дурочки. Только она его и видела!

Конечно, Мухтар не собирается брать себе в пример уголовных преступников, но нельзя не согласиться: «пахан», действительно, настоящий мужчина, умеющий владеть собой и своими чувствами.

В самом деле—разве не глупо теперь, когда Зайнаб так запуталась, жениться на ней? Во что она превратилась, эта девочка, с которой он познакомился в доме раиса!.. Смешно вспомнить—репетитор!.. Когда это было? Господи боже ты мой—прошло шесть лет. Да, целых шесть лет его судьба так или иначе связана с этой девчонкой. Ни одна девушка, ни одна женщина не держалась вблизи от него так долго.

Мухтар учился на втором курсе, когда, в один из весенних вечеров, его неожиданно вызвал к себе заместитель директора пединститута. Мухтар как сейчас помнит: в тот вечер было назначено свидание... кажется с Клавой. Да, конечно с этой курносой официанткой из нового павильона в парке культуры... Заместитель директора попросил его сесть и, медленно цедя слова, с какой-то необычайной торжественностью, объявил:

— Мы тут говорили с директором и наш выбор остановился на вас... У вас, кажется, есть квартира в городе?

— Да, я живу в своем доме,—еще не зная о чем пойдет речь, сказал Мухтар.

— Это хорошо,—продолжал заместитель.—Хорошо и то, что на вас приличный костюм... Короче говоря, как вы смотрите на то, чтобы провести каникулы здесь, в городе?

Мухтар выжидательно молчал.

Тут заместитель почему-то замялся:

— Дело, видите ли, в том... Мы рассчитываем на вашу воспитанность, скромность... Ну, и на ваши педагогические способности. Вы, кажется, сильны в математике?..

«Что он тянет?»—подумал тогда Мухтар. Ему надо было торопиться—Клава уже, наверное, стоит под часами на почте.

— Есть одна девочка. Дочь...

Тут Мухтар начал понимать. Известно было— у директора плохо учится дочка.

— Репетитором?—произнес он.—Нет, я никак не могу!

— Да подождите, не торопитесь с решением! Вы же не

знаете условий. Все лето вы будете здесь, при институте, я дам вам возможность заработать.

Теперь Мухтар уже не сомневался: дочка директора. Конечно, было бы не плохо сблизиться с директором института. Но товарищи и без того называют его ловкачем. А есть и такие, которые обвиняют его в подхалимаже. Какой смысл, в самом деле,—учится он достаточно хорошо и опека директора ему не нужна. Опека, да еще в ущерб отношениям со своими однокурсниками. На это он не пойдет... И он так энергично замотал головой, что заместитель поморщился:

— Вот что, молодой человек. Я не могу вести этот разговор долго. Внизу ждет ЗИС. Поезжайте. Поговорите. Возвращайтесь. И тогда будем решать.

«ЗИС»! Мухтар сразу смекнул, что тут пахнет жареным. И заместитель по лицу его понял: студент станет сговорчивее.

— Эх, ты!—воскликнул замдиректора со снисходительной улыбкой и похлопал Мухтара по плечу...—Поезжай, поезжай. Но, смотри, не подведи нас!

Так Мухтар познакомился с Зайнаб.

Когда он приехал в этот большой дом, его ввели в столовую, где уже ждала хозяйка. Пожилая, строгая женщина с уверенными манерами и властным взглядом.

— Вы сын известного юриста?

Мухтар наклонил голову.

Она оглядела его и, видимо, осталась довольна.

— Наша девочка—очень нервный и впечатлительный ребенок... Она много болела и вообще... Науки ей плохо даются. Ребенка надо заинтересовать. Понимаете? Увлечь!

Потом позвали Зайнаб. Мухтару показалось, что ей не больше тринадцати лет. Его поразили лукавые миндалевидные глаза, смешное ребячливое кокетство. Когда он узнал, что девчонка уже в восьмом классе—мысли его повернули в другую сторону. Ее мама сказала, что надо увлечь... Да, конечно, это задача...

Пожилая и не очень интеллигентная женщина—Ойша-бегим имела в виду только один смысл этого слова: увлечь науками. Но Мухтар уже в тот момент не мог не подумать: «Увлечь? Да, это забавно». Правда, мысли о женитьбе ему еще не приходили. Давно решено, что женится он не раньше, чем устроит свою жизнь... Ойша-бегим, мать Зай-

наб, сама толкнула его на то, чтобы он пригляделся к девочке. И он пригляделся. А, приглядевшись, заметил: ее грациозность, это уже не грациозность девочки; в ней столько кокетства, что становится ясным—его будущая ученица прочитала не мало романов и в этих романах ее больше всего увлекала любовь...

Но была в Зайнаб и чистота яблоневого цвета: щемящая душу наивность движений. Она сутулилась, как все девочки, формы которых только-только начинают расцветать. Дивная, чарующая застенчивость. Прозрачность кожи и нежность румянца—все это было так необычайно и так далеко от того, что он знал...

Помнится, уже в ту первую встречу с Зайнаб, сердце Мухтара непозволительно задрожало. Уходя домой, он размечтался: вот бы воспитать себе такую невесту и потом спрятать от чужих глаз, укрыть под паранджой...

Да, да! Он даже рассмеялся над этими мечтами: откуда у него, современного человека с европейским вкусом, такие мысли? Пережиток? Да, конечно, пережиток феодальных обычаев. Анахронизм. Атавизм.

Позднее он познакомился с отцом. В первый же вечер Мухтар определил: Очил-ака не бывший батрак. При всем том, что сейчас он толст и важен—он и сейчас батрак: батрачит для народа, работает днем и ночью. Но главным образом он батрак своей единственной дочери—Зайнаб. И еще Мухтар сделал вывод: старик туповат, совсем не понимает шуток, не ценит анекдотов. В первом же разговоре стал наставлять Мухтара на путь истинный:

— Это мне очень удивительно, как это вы не рветесь после института ехать в район. Знаете, какая там нужда в культуре!

Словом, они не сошлись характерами—Мухтар и отец Зайнаб. Но уроки пошли девочке на пользу. Физика, химия, математика—в них Мухтар действительно был силен, а стремление увлечь наукой, да и не только наукой, было в нем так велико, что ученица быстро догнала свой класс, а кое-в чем ушла вперед...

Когда они в первый раз поцеловались? Мухтар этого не мог вспомнить. Он помнит только, что впервые поцеловал Зайнаб опрометчиво, не думая и совсем некстати. Да еще в такой обстановке, что их могли увидеть. Ну, а если бы увидели—всё бы рассыпалось, весь его замысел В его отношениях с Зайнаб всегда было так: боролись

два чувства—настоящая любовь и желание сделать карьеру. Теперь-то он понимал—в этом и крылось его несчастье.

Надо было влюбиться, вернее, заставить себя влюбиться в Очила-Батрака, председателя облисполкома. Надо было с первого же дня во всем с ним соглашаться, ухаживать за стариком, ухаживать за старухой. Пусть Зайнаб осталась бы к нему равнодушной... Ну, не равнодушной, только чуть-чуть заинтересованной. Во всяком случае, так поступать, как поступал Мухтар, было в высшей степени глупо и нерасчётливо.

Через год его уже выпроводили из дома. Тихо, вежливо. Даже деньги предлагали. С Зайнаб, когда она перешла в десятый класс, он встречался тайно. Мухтар прекратил бы и эти свидания, помня как дурно относится к нему ее отец. Но... Оказывается, и такие люди, как он, к своему глубокому несчастью, могут влюбиться. Удивительнее же всего было то, что и потом, когда Зайнаб уже пробиралась втайне к нему в дом и уходила поздно вечером, даже после этого, чувство его не только не остыло, а все росло и росло.

Проклятый старик! Как можно было разобраться в характере этого деревенщины?! Еще в тот год, когда Мухтар запросто бывал в доме раиса, он не мог не видеть, что Очил-ака души не чаял в дочери. Ни в чем ей не отказывает, потакает всем ее прихотям. Ну, разве можно было предположить, что старик упрется?! Мало упрется—от дочери откажется!..

На что рассчитывал Мухтар? Зайнаб придет домой, покается, скажет, что жить без него не может, а если отец начнет бурчать и злиться,—пустит слезу, или даже горько расплачется. Был же случай, когда Зайнаб, вопреки воле отца, купила себе модную шубку. Очил-ака так взбеленился, что даже оторвал воротник этой новой и очень дорогой шубки, привезенной из Ленинграда. Но стоило денек поплакать—старик сам отвез шубку в мастерскую; скорняки ее починили так, что и следов не осталось.

Мухтар помнит вечер. Душный майский вечер перед грозой. Он сидел и ждал. Зайнаб в тот год получила аттестат зрелости. Она пришла и сперва всё было хорошо. Но вдруг она стала упрекать:

— Вы говорите, что любите, но почему же тогда мы до сих пор должны скрывать свои чувства от людей?

Что он мог ей ответить? Разговор этот возникал уже не в первый раз. Отшучиваться больше нельзя, но нельзя было и прямо заявить: «Не ты мне нужна—нужен твой отец, его влияние, его общественное положение. С помощью твоего отца я мог бы, закончив институт, мгновенно выдвинуться...»

Он смотрел на нее тогда и делал всё, чтобы не выдать взглядом свои истинные мысли: «Неужели ты воображаешь, глупенькая, что даже с тобой я соглашусь на жизнь бедного служащего — начинающего педагога?! И так я слишком долго с тобой вожусь. Если бы не ты, я давно бы женился на дочери заведующего вокзальным буфетом. Там нет общественного положения, там деньги, а это не так уж мало».

Нет, такого он ей не мог сказать и не сказал.

— Я вижу,—вот что он сказал ей тогда с улыбкой человека мудрого и благородного,—что ты, моя дорогая Зайнаб, меньше ценишь своего отца, чем я. Меньше бережешь. Он человек больной. Души в тебе не чает: ты второе его сердце. Подумай, что будет с ним, если он узнает, что мы поженились без его согласия! Ты и я—простые маленькие люди. Он—общественный деятель, государственный человек. Его здоровье принадлежит народу. Можем ли мы с тобой распоряжаться этим достоянием? Можем ли ставить на карту такую драгоценность?

Зайнаб слушала его со слезами на глазах. Щеки ее разгорелись. Внезапно она вскочила и убежала, хлопнув дверью...

Мгновение спустя, она крикнула в окно:

— Видите, собирается гроза. Сейчас хлынет дождь. Но всё равно—ждите меня, Мухтар! Я бегу к отцу. Я скажу ему всё.

...Через час она вернулась, вся мокрая. В руке ее был узелок с бельем и двумя платьями. Ни слова она ему не сказала—только кинулась на шею.

Надо было выгнать! Это было единственно правильное решение. А у него не хватило сил. Только к утру он придумал план. Сказал:

— Мы уедем в другой город. В Ташкент... Да, да, в Ташкент — там у меня родственники. Тетка... И всё-таки, Зайнаб, жаворонок мой, мы будем выше его и благороднее: мы не нарушим его воли, не пойдем в ЗАГС. Не пой-

дем до тех пор, пока он не образумится. Такой хороший, такой передовой человек, как может он нести в своей душе следы феодально-байских пережитков! Не признавать влечения сердца—какая отсталость! Зайнаб, милая Зайнаб, поверь—он сам пришлет за нами. И тогда мы ему расскажем, что ради уважения, к нему, только ради этого мы не зарегистрировали наш брак.

Мухтар в душе смеялся: только Зайнаб по своему простодушию могла не понять, как мало убедительны все эти доводы. Но расчёт его действительно строился на том, что отец смягчится, признает его своим зятем, а тогда... тогда можно и в ЗАГС. Но не раньше. Ни в коем случае не раньше!

Разве не глупо зарегистрироваться с этой промокшей под дождем девчонкой с двумя платьями? Подумать только—пойдешь в ЗАГС и с этого самого момента она уже совладелица твоего дома. А не дай бог родится ребенок—не отвертишься...

Что было потом? Глупость росла, множилась. Попусту шло время. Каникулы того года унесли с собой немало денег. Его денег—у нее пока ничего не было. И что было самым нелепым: он вел себя, как настоящий влюбленный. Больше того—и в самом деле потерял голову. Помнится—всего за пять тысяч сдал свой дом в аренду на целый год. Повез Зайнаб в Ташкент, ничего не жалел для нее...

И тут вдруг пришло страшное известие—умер Очил Кабиров. Кажется, Зайнаб меньше горевала, чем он, Мухтар: рухнули все его надежды. Зайнаб уехала, вернулась домой, к матери. Там случилось то, что и должно было рано или поздно произойти—если бы Мухтар был поумнее, он обязан был бы это предвидеть—Кабировых из большого дома переселили в маленькую квартирку. Пенсию, ввиду того, что Зайнаб уже была совершеннолетней, назначили грошовую, сколько-нибудь значительного имущества у них не осталось.

В тот самый раз Мухтар встретил в Ташкенте своего отчима. Еще до смерти Очил-ака, Абдулло, узнав о планах пасынка, поднял его нá смех:

— Зачем тебе эти люди? Держи связь с нами! Опирайся в жизни на таких, как мы! Должность, которая не может принести ничего, кроме зарплаты, это хомут ишака. Шайтан тебя угораздил поступить в пединститут. Ну, да

ладно—хоть какой-нибудь диплом, он всегда пригодится. Но связать себя с дочерью такого камня, как Очил-Батрак!.. Этого я от тебя никогда не ожидал. Разве не знаешь: честный—все равно, что дурак.

Глава 8.

Поцелуй любви желанный,—он с водой соленой схож:
Тем сильнее жаждешь влаги, чем неистовее пьешь.

Абульхасан Рудаки.

Если Мухтар проживет до ста лет—все равно он не сможет забыть тот бешеный год. Последний год учебы в институте. Вернувшись из Ташкента, он дал Зайнаб ясно понять: между ними все кончено... Была любовь—и прошла. Мы взрослые люди, каждый отвечает сам за себя.

А вскоре у него к учебе прибавилась нагрузка. Абдулло стал давать кое-какие поручения. Люди, приезжавшие из Ташкента, приходили в институт, разыскивали Мухтара и предлагали: к следующему нашему приезду, к такому-то числу, получи на базе, вот по этой накладной, тысячу метров дамской резинки и триста метров детских лент. А на другую базу, в ювелирторг должны придти модные золоченые ожерелья: здесь они не пойдут, а в Ташкенте дамочки так и рвут их из рук.

Неделю в месяц, никак не больше, занимался Мухтар подобными делами. Но приносило это иногда тысчонки по две, по три, а то и больше. Увлекательное занятие. Позднее, правда, выяснилось, что и здесь, как во всяком деле, нельзя быть профаном: башка должна варить. Прежнего спокойствия, прежней уверенности в себе уже не было. Попадешься—пять лет обеспечены. Но вот, что интересно—очень трудно остановиться. Если выручишь три тысячи—начинаешь соображать: нельзя ли как-нибудь удвоить эту сумму. Раньше Мухтар спокойно проходил мимо промтоварных магазинов, а теперь обязательно заглядывал: вдруг выбросят одеяла или жатый ситец, который так ценится в Ташкенте. Всегда надо быть на-чеку, всегда надо иметь с собой деньги.

Он, наконец, сообразил: нужен расторопный помощник. Преданный ему человек, который мог бы рыскать по магазинам, высматривать дефицитные товары. Зайнаб? Она будет рада его возвращению, а, кстати, они с матерью,

кажется, нуждаются. Легко ли после такой жизни, какую они вели, перейти на строго ограниченный бюджет!

Это было ошибкой, стоившей ему очень дорого.

Зайнаб стала не только любовницей, но и сообщницей, странной, смешной сообщницей.

Как радовалась она, что теперь с Мухтаром ее связывает какая-то тайна, что она может быть ему полезна: разве это не путь к тому, чтобы стать подругой жизни, женой? Она старалась. Ох, как она старалась! Однажды крикнула в окно аудитории, где Мухтар слушал лекцию:

— В двадцатый магазин привезли жатый ситец! Брать?

Вечером Мухтар чуть не избил ее. Она оправдывалась:

— Я же не назвала твоего имени! Могла же я крикнуть кому-нибудь из девушек.

Сколько раз клялась она, что никогда и никому не проговорится, но ее смешная наивность то и дело давала себя знать. Кажется, мозг ее был не способен понять, что она соучастница спекуляции, что она уже втянута в преступные махинации. Один случай так напугал Мухтара, что он и сам готов был отказаться от связи с Абдулло и всех этих подозрительных комбинаций. Целую ночь дрожал, боялся ночевать дома.

Незадолго до Нового года он дал ей денег. Попросил съездить на базу и передать их старичку Назарову.

— Ты только передай деньги. Он сам знает, куда и что доставить.

Когда он уходил из института, в раздевалке, на глазах у всех студентов, гардеробщик, вместе с пальто, дал ему большой бумажный сверток.

— Что вы, что вы, это не мне,—заливаясь краской, сказал Мухтар. Но гардеробщику некогда было разбираться.

— Я почем знаю! На вашем номере висит,—и он так швырнул сверток, что бумага разорвалась и на пол посыпались какие-то маленькие цветные комочки. Тысячи комочков из тонкой резины. Студенты, а их было тут не меньше пятидесяти человек, дружно расхохотались, стали поднимать эти комочки, разглядывать, надувать большие детские шары.

Мухтар, правда, нашелся:

— Я же вам сказал—это не мое. Я никакого отношения не имею к детскому саду...—Надев пальто и шляпу,

он, высоко подняв голову, прошел мимо хохочущих товарищей.

В свертке была чуть ли не вся партия воздушных шаров, присланных в город к елке. Мухтар должен был переправить их в Ташкент. Там, на базаре, их продавали бы по пять рублей за штуку. Здесь на базе он заплатил за них по восемьдесят копеек: ровно вдвое дороже государственной цены.

В тот вечер Мухтар с пристрастием допрашивал Зайнаб:

— Говори, сумасшедшая, как все было! Не пропусти ни одной подробности. Помни, я от тебя откажусь: тюрьма грозит тебе одной, да еще этому несчастному старику со склада, у которого на шее семеро детей.

Тюрьма? Зайнаб впервые услышала, что делает нечто преступное. Она только взяла пакет, который ей передали. Откуда ей было знать, что в нем?...

— Мухтар-джон, успокойтесь, прошу вас, гардеробщику я только сказал: повесьте вот на тот крючок, где темносинее пальто и серая шляпа. Он меня не запомнил. Он всегда всех путает... Так, вы говорите, что там были воздушные шарики?...—она долго и весело хохотала.—Ах, как жаль, что я не развязала пакет и не взяла себе хотя бы несколько штук!

Нет, чувства ответственности у Зайнаб не было, и воспитать его в ней Мухтар так и не смог.

Этот случай с надувными шариками удалось замять. Он, Мухтар, вышел сухим из воды, а Зайнаб, действительно, вызвали в ОБХС, а потом к директору института. Гардеробщик ее узнал. Но она упрямо твердила одно:

— Неправда, неправда, неправда. Ничего я ему не давала. Не знаю никаких шаров,—и при этом так горько и так искренне плакала, что даже опытные люди, работники милиции, почти поверили ей.

Сыграло, конечно, роль и то, что она была дочерью всеми уважаемого человека. Бывшие товарищи ее отца, весьма ответственные работники, звонили начальнику милиции... В общем, делу хода не дали, тем более, что все шарики были обнаружены, и материального ущерба государство не понесло.

И все-таки на Зайнаб Кабирову пала тень. Она не могла прямо смотреть в глаза своим подругам. Мухтар посоветовал:

— Перейди на заочное отделение.

Директор охотно удовлетворил ее просьбу.

Казалось бы всё: разрыв неминуем. Так оно и случилось—после Нового года, до самого окончания института, Мухтар почти не виделся с Зайнаб.

...Однажды секретарь комитета комсомола, милая и очень строгая девушка спросила его:

— Махсумов, почему так грустна Кабирова? Ты, кажется, дружил с ней? Может быть, у нее неприятности дома?

И Мухтар ответил с возмущением:

— Она была замешана в какую-то грязную историю с детскими шариками...С той поры я с ней не встречаюсь.

А через полгода он был уже в Лолазоре.

Глава 9.

В царство розы и вина—приди!
В эту рощу, в царство сна—приди!
Утиши ты песнь тоски моей:
Камням эта песнь слышна!—Приди!

Кротко слез моих уйми ручей:
Ими грудь моя полна!—Приди!
Дай испить мне здесь, во мгле ветвей,
Кубок счастия до дна!—Приди!

Чтоб любовь дотла моих костей
Не сожгла (она сильна!),—Приди!

Шамсиддин Мухаммад Хафиз.

«...Люблю, люблю, только для тебя живу, для тебя учусь»,—писала Мухтару в каждом письме Зайнаб. Он злился на нее, не отвечал, думал, что постепенно она от него отвыкнет. Нет—она продолжала писать, а не реже чем два раза в месяц звонила по телефону.

В одном из писем, может быть желая вызвать его ревность, Зайнаб рассказала о знакомстве с новым заведующим областным отделом народного образования.

«Он еще не стар—высокий, здоровый мужчина. Да вы, наверное, знаете его. Это Гаюр-заде. Лет тридцать пять ему, не больше. Он был знаком с моим отцом. К нам он приходит запросто».

А немного погодя, Зайнаб написала, что Гаюр-заде разговаривал с ее матерью. Он, оказывается, вдовец; хо-

чет жениться. В своем письме на этот раз Зайнаб высмеивала претендента на ее руку и снова клялась в любви к Мухтару.

Вскоре после этого Мухтар поехал по делам в город и, как ни хотел удержаться, всё-таки встретился с Зайнаб. И так всегда! Скольких только женщин ни встречал Мухтар за этот последний год, но ни одна из них не могла ему заменить эту шуструю, ясноглазую девчонку. Каждый раз он говорил себе: «Ладно, пусть! Последний вечер проведу с ней, и решительно покончу».

В этот приезд в город, расставаясь с Зайнаб, он спросил:

— Как, ты говоришь, зовут твоего поклонника?.. Гаюр-заде? О, я знаю его. Видел. Красивый и совсем не старый мужчина. Что ж—у него положение, хорошая квартира. Подумай, подумай, раньше чем отказывать. И во всяком случае—не порывай знакомства, оно может пригодиться...Уж не считаешь ли ты, что я шучу? Да, да, милая Зайнаб, такое знакомство, безусловно, может пригодиться не только тебе, а даже и мне... То есть нам,—с неясным намеком сказал Мухтар.

Зачем только он запутывал их отношения? Зачем даже в этом ясном по смыслу разговоре в полунамеках давал ей ощущение какого-то далекого и все-таки возможного счастья? Зачем создавал впечатление ревности? Мухтар и сам толком не знал, к чему эта игра. Иначе не мог. Так было и с товарищами, и с друзьями, и с сослуживцами. Любил интриги. Любил загадочность. Что же касается его отношений с Зайнаб—они всегда были запутаны, неприятны и радостны одновременно.

«Если бы я был богатым! Ах, если бы не нужно было думать о том, как сложится судьба, какое мне предстоит будущее!».. Всегда он в мечтах. Всегда считал, что жизнь начнется завтра, послезавтра. А сегодня—это всего лишь временное существование.

Ну, как считать жизнью то прозябание, которое ведет он здесь, в Лолазоре? Неужели он не понимает, что мелкие взятки, подкармливающие его,—да-да, мелкие!—спекуляция, связь с подозрительными элементами, всё это не украшает жизни. Рано или поздно с этим надо порвать. Он не получил наследства. Его капитал—ум и красота. Люди всегда напоминают об уме его отца. Но ведь то было другое время. Отец его имел частную практику и как

юрист мог получать немалые куши, защищая в суде преступников. Он этого не делал: считал, что душа и совесть выше. А теперь сын должен страдать, получив в наследство жалкую хибарку и несколько ковров.

Может ли он, Мухтар, на такой базе начинать свою жизнь? Есть ли у него моральное право соединять свою судьбу с такой же бедной сиротой, как он сам, с Зайнаб? Но ведь вопрос уже решен. Зачем же он столько раз возвращается к одному и тому же? Его долг, его прямой долг—подавить в себе всякое чувство, подавить ревность. Надо разрубить этот узел! Он обязан подумать о судьбе слабенькой и неразумной девочки, по воле случая ставшей его любовницей. Люди не понимают—им не скажешь—как благородны его истинные побуждения. Пусть, пусть выходит замуж за этого Гаюр-заде. А он, Мухтар, вынужден будет подыскать себе хоть и не такую красивую, хоть и не любимую, но достаточно обеспеченную жену.

...Мухтар оказался прав: Гаюр-заде пригодился. Когда мать Зайнаб, старая Ойша стала совсем плоха и не смогла уже вышивать тюбетейки, девушке пришлось искать работу. Гаюр-заде взял ее в облоно. Как знать, может быть надеялся, что, встречаясь с ним чаще, Зайнаб привыкнет к нему, согласится на замужество.

И вот финал—Гаюр-заде не согласен больше терпеть. Он сделал всё, устроил ее на работу, все эти два года создавал ей благоприятные условия, прощал ошибки, задолго до окончания института выдвинул на должность инспектора. А какой она инспектор! Недавно, провожая ее домой, он высказался:

— Поймите, Зайнаб-хон, вы женщина и только женщина. Прелестный цветочек, место которому дома, с мужем, среди ковров и подушек. Я не хочу вас обидеть, но разве сами вы не видите—надо мной смеются, на меня показывают пальцем: держит в учреждении свою невесту. Как будто у меня мало средств, чтобы обеспечить вам безбедное существование... Я люблю вас. Вы это знаете. Ради этой любви я готов на какие угодно жертвы,—тут он тяжело вздохнул.—Надо решать, Зайнаб-хон. Ничего не поделаешь—надо решать...

В тот же вечер Зайнаб позвонила в Лолазор, а через день пришла телеграмма:

«ЛОЛАЗОР СЕЛЬСОВЕТ
К ВАМ ВЫЕЗЖАЕТ ИНСПЕКТОР ОБЛОНО КАБИРОВА ПРОСИМ ОКАЗАТЬ СОДЕЙСТВИЕ ЗАВОБЛОНО ГАЮР-ЗАДЕ».

Хорошо еще, что Зайнаб приехала в выходной день. В конторе был только Мухтар, да сторож. Она вошла в помещение конторы с таким выражением мучительного счастья и тревоги, что только подслеповатый старик-сторож мог не увидеть, в каких они отношениях.

Оказалось, что в облоно должна была приехать комиссия из центра. Проверять штаты. Предстояло очередное сокращение. Гаюр-заде нарочно отправил ее в командировку, а уж Лолазор выбрала, конечно, она сама. Но он предупредил:

«Нет никакой возможности сохранить вас на должности инспектора. Да и на какой бы ни было другой должности. У вас будет время подумать, дорогая Зайнаб-хон. И мне, разумеется, легче выслушивать упреки комиссии в вашем отсутствии. Поезжайте, отдохните в весеннем Лолазоре и не обижайтесь на меня: я всего лишь государственный служащий...»

Обо всем этом рассказала Мухтару Зайнаб по приезде.

...Она уже четвертый день здесь. Не было вечера, чтобы они не встречались. Весна, и опять, в который раз, какое-то бешеное буйство любви... Чего стоил Мухтару сегодняшний холодный разговор?!

Зайнаб права—разве не смешно, что, ревнуя к Анвару, он не ревнует к Гаюр-заде! Как объяснить ей это? Нет, как объяснить всё это себе? К Гаюр-заде у него не ревность, а зависть. Можно ли ревновать к человеку, к которому равнодушна твоя любимая? Мухтар даже себе не признавался... Потаенные темные мысли стыдливо прятались в глубине мозга: если Зайнаб станет женой Гаюр-заде, разве не может случиться так, что любовь всё-таки достанется ему, Мухтару... И еще:—Разве сможет Зайнаб совсем забыть его? Да, нет же, конечно. Жена заведующего областным отделом народного образования, это ведь почти то же самое, что дочь председателя облисполкома. Поменьше, правда, но зато имеет прямое отношение к его профессии, к его диплому. Не всегда же ему кормиться взятками и спекуляцией!... Он гнал от себя эти мысли, но они сами лезли в голову. Такая уж, наверное, у него голова.

Ох, доведет она его до беды!

Глава 10.

Ты разлюбил меня—меня не унижай!
Я друг тебе, жена,—меня не обижай!
Тех, что меня чернят, порочат недостойно,
(Да сгинут дети их!), к себе не приближай!

(Из народной поэзии).

Сурайе весь вечер пробыла в клубе. За день до того в газете были опубликованы первомайские призывы ЦК КПСС. Нужно было отобрать те из них, которые ближе всего к жизни их кишлака. Нужно было отмерить и нарезать кумач, подыскать художников. Дел по горло. Сурайе любила вместе с молодежью вечерами сочинять и редактировать заметки для колхозной стенгазеты. Она уже два года была ответственным редактором. А теперь еще новость—на площади перед правлением комсомольцы соорудили трибуну, подобную той, что есть в столице. Там «Хорпуштак[1] ходит по городу», здесь «Хорпуштак ходит по кишлаку и полям». Очень забавная, веселая затея. Месяц назад, когда они выпустили первый номер с карикатурами, сделанными учительницей рисования, весь кишлак собрался на площади. То-то было смеху!

Там, например, нарисовали бригадира четвертой бригады, как он, напившись, уселся в арык, запрудил его своей необъятной фигурой. Редколлегия теперь получала заметки—по десять, пятнадцать в неделю. О чем им только ни писали: и о каких-то подозрительных махинациях, которые проводят заведующий складом при помощи секретаря сельсовета, и о непорядках с начислением трудодней. А какой-то чудак даже прислал рисунок, на котором девушка целовалась с молодым человеком. В сопроводительном письме сообщалось, что вот, мол, вместо политучебы такая-то комсомолка и такой-то комсомолец ушли в горы и занялись поцелуями. Было ясно, автор заметки, скрывшийся под псевдонимом «Бутон», долго высматривал влюбленную пару. Что, если не острая ревность, могло толкнуть его на выслеживание?..

По пути домой Сурайе с улыбкой думала о молодом ревнивце. Меняются кишлачные нравы. Время идет вперед. Смягчаются характеры. Если раньше ревность при-

---

[1] *«Хорпуштак»*—«Еж»—название сатирического журнала.

водила к кровопролитию, теперь возникают безобидные формы.

Где-то недавно она вычитала, что даже в коммунистическом обществе возможны преступления, вызванные ревностью. Грабежи, воровство, подлоги,—все преступления, в основе которых лежат пережитки капиталистического строя и социального неравенства, неминуемо отомрут, а ревность—это один из наиболее устойчивых пороков рода человеческого. Слепое чудовище.

Вспомнить только шекспировского Яго и Отелло. Как легко мстительный и грязный человек может использовать в своих интересах это темное и страшное чувство. А «Маскарад» Лермонтова...

Сурайе шла, не торопясь. Наслаждалась удивительно мягким, певучим ветерком, и светом луны и звучащей издалека мелодией какой-то прелестной песенки. Радио? Нет,—опять Мухтар пустил свой магнитофон.

Странный он человек! Есть ведь и у такого какая-то далекая, прелестная мечта, своя Беатриче... Вечера не проходит, чтобы он не послушал этот дивный голосок. Когда-то Мухтар нравился и ей. Вот и верь первому впечатлению. В начале знакомства он ей казался блистательным остроумцем. Нужно было время, чтобы она поняла—это краснобай. Человек, который, согласно русской поговорке, ради красного словца не пощадит ни мать, ни отца. Неправильно сказать, что он глуп. Нет .Он и образован и по-своему умен. Современный человек? Неужели же наша молодежь стремится к этому образцу? Вот, молодежь кишлака—сколько в ней добрых устремлений, душевного благородства, скромности, целомудрия. В клубе готовится к Первому мая современный спектакль. По ходу пьесы герой и героиня должны поцеловаться. Не так-то просто объяснить кузнецу Файзулло и библиотекарше Зебинисо, что поцелуй этот условный. Сколько репетиций, столько поцелуев. И перед каждым поцелуем—смущение, растерянность... Сурайе не могла сдержать улыбки, вспоминая эту милую пару... О чем она только что думала? Ах, да Мухтар... Стоит ли он мыслей? Если бы только было возможно вычеркнуть его из памяти. Нет, лезет. Всюду-то он лезет, этот Мухтар!..

Не спеша, прогуливаясь, подходит Сурайе к своему дому при школе. Торопиться ей, действительно, некуда. Анвар на партсобрании, дети, конечно, давно легли

спать. Мухаббат молодец—она и сама всегда ляжет вовремя и Ганиджона уложит.

Сурайе приближается к дому с постоянным и ровным чувством радостного спокойствия. Другого выражения не подберешь, именно так—радостное спокойствие домашнего очага, где всё создано твоими руками, где даже воздух—свой, семейный, родной. Женщина, не знающая этого чувства—не знает счастья!

Но что такое? Почему в окне детской комнаты свет? Сурайе взглянула на ручные часики—уже одиннадцатый. Ах, да ведь там их гостья, как можно было забыть!

И сразу на душе становится неуютно. Нет, не тревожно... И все-таки... Обычаи требуют радушия и гостеприимства. А тут вдруг деловой гость, да еще такой неудобный. Поздно приходит, поздно подымается, неизвестно—ждать ее к обеду или нет... С гостем принято беседовать, но если это гость Анвара—пусть он с ней и разговаривает. Увы—разговаривать с ней, развлекать ее приходится хозяйке дома. Сейчас, наверное, сидит одна, не спит, смотрит на луну, подперев голову рукой. Хочешь, не хочешь, а придется спрашивать: «Почему вы, Зайнаб-джон, не спите? Почему, Зайнаб-джон, лицо ваше затуманено грустью?»

Но оказалось, что гостьи дома еще нет. В комнате хозяйничает Мухаббат.

— Ты почему не спишь? И что ты тут делаешь?... Вот, Ганиджон молодец, видит уже третий сон, а ты забралась в чужую комнату...

— Как это в чужую?—Мухаббат обиделась.—Это моя, это наша с Ганиджоном комната... Мамочка, мамочка, посмотри! Что это такое?—она протянула Сурайе странный металлический предмет.

Сурайе машинально взяла. И правда—невиданная штука. Ножницы не ножницы, хотя всё устроено как у маленьких ножниц, но вместо острых кончиков—два металлических полумесяца. Хитрое сооружение. А для чего? Резать нельзя.. Сжимать? Но что? Попробуй, объясни девочке!

— Мама, мама, у тети Зайнаб, посмотри, как много разных штучек,—взахлеб тараторила Мухаббат.—Какая она замечательная, какая красивая, правда? Она добрая... и у нее здесь в комнате так хорошо пахнет! Вот, ляг на ее подушку,—Мухаббат зарылась в подушку Зай-

наб и глубоко вдохнула аромат духов. Нехотя оторвавшись от подушки, она опять защебетала:—Вырасту большая, мамочка, буду как тетя Зайнаб. Мамочка, ты ничего не понимаешь... Посмотри на меня... Видишь, видишь?... Ну, вот ты какая, мамочка,—не видишь даже, что у меня ресницы стали задираться. Красиво? Машинка, которую я тебе показала—для завивания ресниц. А это,—Мухаббат схватила с подоконника небольшой обтянутый кожей ящичек.—Знаешь, как это называется?! Несессер! Ты открой, открой, не бойся. Смотри, мама. Тут граненая бутылочка для одеколона. И две щетки—для платья и для волос. Зеркальце. А это прибор для ногтей, чтобы они стали такими розовыми и гладкими, как у тети Зайнаб. А здесь прячется гребенка. А здесь...

Сурайе резко, почти грубо оборвала дочку:

— Отправляйся спать! И если я еще раз увижу, что ты будешь приставать с расспросами к тете Зайнаб... Если ты еще раз посмеешь войти сюда, когда ее нет дома... И все равно, даже тогда, когда она дома...

Мухаббат еще не видела свою маму такой сердитой. Мама побледнела. У мамы тряслись руки. Почему? Что с ней могло случиться? Разве она не видит, что все эти бутылочки, щипчики, ножницы делают тетю Зайнаб молодой и красивой? Какая мамочка странная! Если бы она так же натиралась на ночь, если бы она завивала себе волосы и ресницы, если бы она душилась такими дивными духами...

Но тут размышления маленькой Мухаббат были прерваны громким стуком в дверь. Чужой. Никто из своих никогда так не стучит.

— Иди, доченька, иди, залезай скорей в постельку... Ну, иди же!—Сурайе, преодолев раздражение, поцеловала дочку в обе щечки и мягким материнским движением толкнула ее в сторону кухни, где временно спали дети.

Стук повторился. Громкий, требовательный, властный. Кто бы это мог быть?... Сурайе посмотрела в зеркало: не надо обнаруживать волнения. Нехорошо, что слова маленькой Мухаббат произвели на нее столь сильное действие. Болтушка—она не понимает, что затронула больные струны души своей мамы. «Тетя Зайнаб—красивая... Я буду такая...»—мелькнуло в ее уме. Она вздохнула и пошла отворять дверь...

Глава 11.

Еще один совет: ты послухам не верь!
Молва всегда молва: шумит! Но тем не менее
Услышанным словам, услышанным вестям
С увиденным тобой—не может быть сравненья.
Поэтому слушков, как зайцев, не лови:
Всему, что услыхал, потребуй подтвержденья.
И, наконец, еще: слова не есть дела.
Деянье это плоть! Слова же—только тени.

Носир Хисроу.

Как появилась у него эта идея? Скверная мысль, скверный поворот. Что толкнуло его в этот дом—страсть, ревность? Мухтар не мог владеть собой. Правда, говорят, что алкоголь, даже и в том случае, если ты не пьянеешь,—медленно и верно разрушает нервную систему: ты перестаешь отвечать за свои поступки, контролировать их.

Он действовал по плану. Как будто план всё решает. Как будто—если есть план, то он обязательно должен принести успех. Планы бывают разные. Некоторые из них возникают в затуманенном мозгу, продиктованы темными помыслами, страстью или глупостью, — а это одно и то же.

Как громыхал он в дверь Сурайе! Этот грохот тоже был частью плана: поразить воображение. Человек, который боится ночного стука в свою дверь, такой человек думает, что и другого стук непременно приведет в замешательство, вызовет животный страх, опасение за свое благополучие. Давно уж Мухтар не мог совладеть с ночными страхами...

А на его стук даже не сразу откликнулись. Он повторил. И в этом повторном стуке уже не было должной уверенности, было сомнение. В голове возникла запоздалая мысль о том, что он поступает подло. Но ничего уже нельзя поделать. Ему открыли. Как он рассчитывал, дверь отворила Сурайе. Единственная женщина, единственный человек во всем мире, которого он боялся.

Почему? Что страшного таит в себе обыкновенная сельская учительница, не умеющая даже хорошо одеваться? Если бы он шел сейчас к женщине, имя которой было бы чем-нибудь опорочено. Если бы он шел сейчас к женщине с предрассудками, которые может использовать любой мулла—как всё было бы просто... Еще в то время, три года назад, когда он входил в этот дом, куда

его взяли жить добрые люди, он впервые испытал на себе силу женского характера. Впервые узнал, что таджикская женщина может и мыслить и действовать самостоятельно. Если бы Сурайе пожаловалась тогда Анвару—Мухтар обиделся бы на нее, затаил злость. Если бы Сурайе приняла его ухаживания—он презирал бы ее, он разговаривал бы с ней снисходительно, как говорит сейчас с той учительницей, с той молодой дурочкой, которая плакала, ждала, да и теперь еще ждет его к себе.

Нет, Сурайе не сама испугалась—его напугала. Ничем не грозила, никому не жаловалась. Страшно, в самом деле страшно, что женщина может быть сильнее тебя. Но ведь и она не камень. И у Сурайе должны быть чувства, которые умный человек может обратить себе на пользу.

Она открыла дверь широко, как желанному гостю. Так открывают простые души, люди, которым ничего не страшно. Люди, которых не обременяют ни опасение за свою судьбу, ни богатство.

— Пожалуйста, прошу вас,—сказала Сурайе, еще не зная, кто войдет в этот поздний час в ее дом.

И радушие смутило Мухтара.

Он не вошел. Он вполз. Дверь была открыта настежь—в прихожей, в теплом семейном доме, светила яркая лампочка: сейчас хозяйка увидит его лицо. Уж не разгадает ли она по первому же слову грязный замысел, таящийся в его голове?

Мухтар мнил себя человеком, способным разыграть любую сцену. Сейчас он изображал встревоженного нарушением морали представителя общественного мнения.

— Я... Я,—казалось, он задыхался от волнения.

— Вижу, что это вы, Мухтар-джон,—улыбаясь произнесла Сурайе.—Не закрывайте за собой дверь... Пожалуйста. Мужа дома нет, дети спят. Лучше пусть дверь останется отворенной.

— О, Сурайе-хон, вы всё еще помните о том ничтожном эпизоде, продиктованном безумной страстью... Но если уж вспоминать, если упрекать меня,—он снизил голос до шопота и с опасением оглянулся,—там...

— Что там? — Сурайе усмехнулась, — джины?[1]— она продолжала серьезно и холодно:—Вы ничем не су-

---

[1] *Джин* — бес, злой дух.

месте меня напугать, Мухтар-джон. Моя совесть чиста. Прошу вас—садитесь и спокойно расскажите, что заставило представителя власти в столь поздний час явиться в наш скромный дом.

— Я сейчас не представитель власти. Я человек. И только человек. Прежде всего—ваш друг. Друзья познаются в беде, не так ли?.. Простите, а где ваш муж?

— Вы знаете об этом не хуже, чем я,—не задумываясь и ничего не подозревая, ответила хозяйка дома.— Он на партсобрании в колхозе.

— Партсобрание окончилось полтора часа назад.

— Значит, он задержался. Мой муж—член бюро.

— Член бюро!—Мухтар расхохотался неестественно громко.—Непорочный коммунист и примерный семьянин, Анвар Салимов! А где ваша гостья? Тоже на партсобрании? Может быть, и она член бюро колхозной парторганизации?

Сурайе невольно покраснела. Мухтар с удовольствием обнаружил в выражении ее лица растерянность. Он продолжал уже гораздо нахальнее:

— Сурайе-хон, не тешьте себя наивной уверенностью... В некотором роде я сам виноват: навязал вам эту городскую штучку. Я чувствую себя ответственным перед вами. Сам привел ее к вам, в семейный дом...—Мухтар вскочил, схватил Сурайе за руку:—Идемте, идемте! Я покажу вам на каком партсобрании...

Сурайе брезгливо выдернула руку.

— Уходите,—спокойно и негромко сказала она.

В голосе ее было столько презрения и отчуждения, что Мухтар перенес на нее всю ненависть, которую до того питал к Анвару. Понял: Сурайе, и только она, разрушила дружеские отношения, возникшие вначале между ним и директором школы, добилась увольнения Мухтара и, если дело пойдет так дальше, добьется того, что он будет разоблачен до конца.

— Уходите!—повторила Сурайе чуть громче и показала на дверь...—Никогда больше не смейте появляться в нашем доме... Грязный человек!

Если б только можно, Мухтар готов был впиться в горло этой женщины. Нет врага хуже ее.

Согнувшись, опустив глаза, выскользнул он на улицу, и трава так зашуршала под его ногами, как будто проползло пресмыкающееся.

Глава 12.

Вся поникнув, дрожа, подбежала ко мне,
Словно птица, что насмерть стрелой сражена,
Охватила мне шею любовной петлей,—
Та петля захлестнулась, туга и нежна.

Абульнаджм Манучехри.

Директор кишлачной десятилетки—что это? Только должность?

В том-то и дело, что директор школы в сельской местности это человек, общественное положение которого волей-неволей обязывает его помнить об уважении народа, помнить, что он всегда в центре внимания. Любой его шаг будет замечен. И любой шаг необходимо, раньше, чем его сделаешь, обдумать. Можно быть ребячливым дома, в кругу семьи, можно повалять дурака где-нибудь в горах, на прогулке. Но в кишлаке, даже если ты идешь один поздним вечером, помни, Анвар—окна домов это те же глаза.

Вот Анвар идет с партийного собрания. Уважаемый человек, коммунист, член бюро колхозной партийной организации, директор школы. На партийном собрании шла речь о весеннем севе. Анвар председательствовал. И всё, что коммунисты говорили о необходимости правильно размерять квадраты, правильно организовать труд, хотя и не имело отношения к его непосредственной деятельности—было ему интересно. Он не кривил душой. Вникал во все подробности жизни колхоза. Так почему же сейчас, на улице, в этот лунный вечер, мысли его сразу же отключились от колхозных дел и голова зашумела, как у юноши?

Что-то случилось сегодня в его жизни...

Смутное ощущение каких-то надвигающихся перемен возникло в его душе до собрания. Душа праздновала и ликовала. Это не мешало думать, не мешало работать, не мешало участвовать в большом и горячем споре, возникшем на партсобрании между бригадирами. Нет, он, председательствующий на собрании учитель, сегодня был как-то особенно мудр и даже чуть-чуть снисходителен. Он как бы говорил: «Мое дело сторона, я не получаю трудодней, но вот, товарищи, по-моему яснее ясного — надо решить так». Его предложения собрание приняло

с благодарностью. Какая-то живительная струя вошла сегодня в его жизнь. Откуда?

Он идет один—и очень доволен, что один—отделался от собеседников. Душа ликует. Весь он переполнен чувством силы и радости. Сам не зная зачем, ударил ногой по камню. Вот так солидный человек! Ведет себя как влюбленный мальчишка... Он с опаской огляделся. Слава аллаху—никто не видел. «Ну, ты, мыслитель, аналитик,—внутренне улыбаясь, говорит себе Анвар,—всё-то ты понимаешь. Объясни, почему ты так резвишься сегодня?»

И как только он задумался над этим вопросом—в памяти возникли глаза. Надо же, чтобы человеку были даны такие глаза. Инспектору. Такое строгое официальное слово и вдруг, пожалуйста, глаза.

Нечего сказать, женатый человек! Увидел в инспекторе девушку. Увидел блеск ее глаз. И все-таки он с удовольствием вспоминает проведенный им урок литературы. Но к удовольствию этому примешивается чувство неловкости: а вдруг его класс догадался, заметил. Они ведь никогда не видели его таким вдохновенным. Ну-ка, ну-ка, Анвар, признайся себе, кому было адресовано это вдохновение?

И тут директор школы, шагающий в лунный вечер с партсобрания, подмигнул самому себе. Так нередко поступают подвыпившие люди. Подмигнув, он тут же пожал плечами.

Человек лукавит сам с собой ничуть не реже, чем с другими. А такой человек, как Анвар, с другими вообще никогда не лукавил.

Впервые в жизни приходится ему задуматься об источниках вдохновения. Как объяснить то, что сегодня утром, проводя обычный урок, он вдруг почувствовал прилив сил и красноречия? Недаром некоторые из его уже почти взрослых учеников и учениц оглядывались на инспекторшу. Заметили направление его взгляда. А ведь как он старался не смотреть в ту сторону!

И сколько ни пытался Анвар упрекнуть себя, найти в своем поведении порочность—не получалось. Зайнаб—гостья и должностное лицо одновременно—живет здесь четвертые сутки. Ночует у них в доме. Живет и живет. Мало ли кто может приехать, мало ли кого приходилось принимать у себя. Судя по всему девушке-инспектору не больше двадцати трех лет. На добрый десяток лет моложе,

чем я. Да и к чему этот расчёт по годам? Что за нелепость, почему в голове его роятся эти мысли, эти расчеты? Просто зло берет...

Вдруг он видит: один из тополей, стоящих вдоль дороги, как-то странно утолщен снизу. Что за наваждение! В такой поздний час у дерева стоит человек... Если бы двое—влюбленные, если бы мужчина—пьяный. Стоит девушка.

— Зайнаб-хон?! Откуда? Какими судьбами?

Она вскрикнула от неожиданности, но тут же улыбнулась и очень естественно ответила:

— Я люблю такие ночи. Весенние, лунные...

— И вы тоже? А я думал, что только я люблю...

...Люди трезвые и скучные, люди малонаблюдательные скажут, что совпадение и случайность не играют никакой роли в жизни человека. Пусть проверят—всё, что касается любви, и в их жизни почти всегда оказывалось случайностью... Вот он и проговорился, наш Анвар! Хотя бы в мыслях—уже признал, что увлечен. Конечно, это дает ему возможность объяснить откуда возник источник его утреннего вдохновения.—Глаза!

— Дорогая гостья,—говорит Анвар и сам слышит в своем голосе робость и смущение, присущее юноше,—мы с вами идем в другую сторону. Дом, в котором мы живем, остался позади...

Зайнаб шагает с ним рядом. Тусклая, темносерая, помятая. Шагает и молчит. В этой фигурке что-то жалкое и в то же время трогательное. Глаз ее Анвар не видит. Тех самых глаз, которые утром вызвали в нем вдохновение.

Можно ли сомневаться в том, что неверность—зло? Это аксиома, истина, не требующая доказательств. А влюбленность? Тоже зло? Хотелось бы задать вопрос железобетонным лекторам, выступающим на тему «Любовь и советская семья»: не случалось ли им хоть раз в жизни почувствовать нежность и необъяснимое тяготение к девушке или к женщине?... Да, да,—не до, а после женитьбы! Хотелось бы спросить у них—всё знающих и всё определивших заранее—положительный это фактор или отрицательный?

Анвар и сам может ответить за предполагаемого лектора: «Дело не в том, уважаемый товарищ, что возникает склонность и взаимовлечение. Это явление, оправданное

биологически. Задача, стоящая перед человеком нашего социалистического строя, состоит в том, чтобы преодолеть стихийно возникающее чувство. Стихийность—враг советской семьи!»

— Анвар-джон,—произнесла робкая фигурка и повела глазами в его сторону,—я не знаю, что со мной делается... На душе моей смутно, Анвар-джон... Вы думаете, я не понимаю, что мы идем в другую сторону? Я не только это понимаю...Нет-нет—мы просто гуляем. Разве мы не имеем права?—тут робкая фигурка сделала такое движение плечом, что у Анвара явилось желание утешить ее, приласкать...

Внезапно он расхохотался. Громко, весело.

— Товарищ Кабирова, я вспомнил, что являюсь по отношению к вам подотчетным лицом.

И она рассмеялась. Благодарно и мило. Ответила стихами:

Прося у вельможи, жмут руки к груди,—
Пред богом я в памяти это храню.
Когда ж он низвержен, проситель его
Ему на чело свою ставит ступню.

Ничего предосудительного: идут, вдыхая горный воздух, насыщенный кислородом, директор десятилетки и командированный из облцентра инспектор отдела народного образования. Идут в сторону наиболее живописного места, самой природой предназначенного для прогулок. Имеет ли право общественность осудить их?

Мягкая ночная птица—козодой мелькнула в воздухе. Светлячок загорелся в траве. Далекий горный обвал, вызванный весенним движением вод, донес сюда, в человеческое поселение, грохот, похожий на гром. Пыхтение трактора, постукивание движка электростанции, писк мошкары, кваканье лягушек—всё это было так же непохоже на «социальную среду», рисуемую в некоторых лекциях, как непохоже было робкое и застенчивое сближение двух душ человеческих на то, что принято называть нарушением советской морали.

Было ли в нем желание соблазнить?

Было ли в ней намерение сбить с пути женатого человека и директора школы?

Они сели друг против друга на большие камни. Рядом шумел небольшой водопад. Шевелились над голо-

вами длинные листики плакучей ивы. Зайнаб сказала:

— Утром, после того, как я побывала на вашем уроке, заведующий учебной частью пригласил меня к малышам...

— В первый класс?—спросил Анвар.

— Нет, я побывала во втором классе «Б». Гафурова вела урок арифметики... Мне понравилось... Вообще ваша школа лучше многих других...—тут глаза ее приоткрылись, в них сверкнул блик луны.—Анвар-ака!—воскликнула девушка,—вы, наверное, очень хороший человек...

Она не успела договорить.

— Я хороший?!—его вопрос прозвучал очень искренне. Как раз в этот момент он любовался склоненной к ручью фигуркой девушки. Любовался и думал: «Я, наверное, с ума схожу, я совсем не могу собой владеть...»

— Я сказала хороший, а подумала совсем о другом. С самого детства я ничем другим не занимаюсь,—только учусь. Правда, последние два года немного работаю... И сейчас я на заочном отделении. Впервые в жизни я услыхала урок, в котором учитель с таким мастерством и с таким проникновением говорил о литературе...—Она прервала себя, взглянула на часы.—Не могу разобрать. Кажется, уже двенадцатый час...

— Двенадцатый час,—как эхо повторил Анвар.

— Вы, наверное, рано ложитесь спать, не так ли? Мой приезд нарушил обычное течение жизни вашей семьи.

— Я? Нет...—Анвар отвечал механически. Он понимал, что ее вопросы вызваны смущением.

Он хотел бы молчать и любоваться этой девушкой, как любуются произведением искусства—скульптурой, картиной. Он и в самом деле нередко бродит один вечерами. Жители кишлака привыкли к этой странности, не обращают внимания. Сурайе—было время—сопровождала его в таких прогулках. Но женщины разделяют мужскую романтичность чаще всего до замужества. Тогда они охотно соглашаются, что и ночные прогулки радуют душу, и что человек наедине с природой как бы очищается. Некоторое время после замужества они тоже способны прогуляться с молодым супругом. Но прогулки эти уже наполняются разговорами о доме, о хозяйственных мелочах... А еще немного погодя, жена

нехотя мирится с тем, что муж бродит по ночам. И не очень-то верит в его одиночество.

— Сурайе беспокоится?—спросила Зайнаб.

Анвар не ответил. Может и не слышал ее вопросов. Заметив ласково-внимательное и в то же время неопределенное выражение глаз, направленных на нее, Зайнаб капризно дернула плечом.

— Вот уже третий вопрос я задаю вам, а вы все смотрите, смотрите...

— Вопросы?.. Правда, вы спрашивали меня о чем-то и, кажется, хвалили мой урок... Вы даже сказали, что я хороший человек...

— Господи!—воскликнула Зайнаб и не очень естественно рассмеялась.—Вы совсем, как лунатик, что с вами, Анвар-джон? И вы так смотрите...

— Как я смотрю?.. Обычно такие ночные прогулки я совершаю один. Вот вам и ответ сразу на все вопросы. Правда? Сурайе не беспокоится,—знает о моей привычке бродить ночами. И вовсе я не хороший: поздно ложусь, заставляю ждать жену и на сон грядущий не целую детей. Я не хороший еще и потому, что совсем не умею поддерживать легкую беседу с молодыми девушками. Видите, сколько у меня недостатков... И сейчас мне тоже хочется молчать и слушать вас.

Она чужая ему—эта милая грациозная девушка. И не только потому чужая, что он знает о ней так мало. Всё в ней не похоже на тех женщин и девушек, с какими он обычно встречается. От нее пахнет духами. Губы ее накрашены, волосы завиты. И одета по моде. Раньше он всегда с неприязнью смотрел на таких. Уж не консерватор ли он? Если бы Сурайе оделась так, и надушилась и натянула прозрачные чулочки, как бы обнажающие ноги... Он был бы не только удивлен,—возмущен, а сейчас—любуется...

Привычка к самоанализу, свойственная педагогу привычка контролировать свои поступки, заставляла его и сейчас настороженно прислушиваться к себе, сдерживаться, размышлять. Он считал себя сухарем, подсмеивался над собой. Приверженность к добрым таджикским традициям он никогда еще не ставил себе в упрек. В прошлом году, когда Анвар ездил на экскурсию в Москву, в Историческом музее он впервые увидел национальные русские наряды... «Насколько же они красивее,—так подумал он

тогда—чем нынешнее европеизированное и такое куцое платье!» А еще до того, побывав с делегацией таджикских учителей на Украине, он любовался прелестной народной вышивкой на женских платьях, блузках, сарафанах. Их он видел в селах. В Киеве он не встретил ни одной женщины, одетой по-украински. И возмущался этим. С гордостью вспоминал Таджикистан: даже в Сталинабаде улицы наполнены людьми в халатах, чалмах, тюбетейках. Как это красочно, самобытно! Ни разу в жизни не привлекла его внимания, даже самого беглого, женщина или девушка-таджичка, одетая по модному журналу. Вместе со стариками осуждал он проникновение в быт таджикской женщины всякого рода косметики; и всего больше оскорбляли его художественное чутье легкие, прозрачные наряды, бесстыдно, как ему казалось, обнажающие женские формы. Теперь же он с тревожным удивлением замечал, что с приездом инспекторши все его убеждения рассыпались в прах. Он не только не осуждал ее манеру одеваться и вести себя. Нет, в нем даже, бог знает откуда, появилась склонность к «прогрессивным» веяниям. Зайнаб однажды, посмотрев на его брюки, сказала, что сейчас другая мода: в Москве и в Ташкенте давно уже носят узкие. «Узкие!—воскликнул он с презрением.—Как у пижонов в карикатурах «Крокодила»? Но когда гостья, пожав своими хрупкими плечиками, заметила всего лишь, что «мода есть мода»—он с легкостью согласился, хотя довод был не очень-то убедителен.

—...и росла сперва в кишлаке... в таком же горном кишлаке, как ваш милый Лолазор. Только там у нас не было реки... Такой шумной. Но зато родник, прозрачный и чистый, как хрусталь. Недалеко от кишлака—озеро. Сейчас мне дни детства кажутся раем...

Анвару стало не по себе. Она уже давно говорит, а он ухватил только конец фразы. Неопределенно улыбнувшись, он закивал головой.

Полились строчки стихов:

На вершине высокой горы было гнездо мое,
Рок выпустил стрелу в плечо мое,
Рок выпустил стрелу, а острия в ней нет.
И переполнилось тоской сердце мое.

Зайнаб так продекламировала это народное четверостишие, что сердце Анвара заколотилось. В нем всегда

теплился восторг перед талантом. Непринужденная выразительность, отсутствие какой бы то ни было экзальтации и в то же время проникновенная мягкость ее манеры читать, действовали подобно музыке ручья: просто и естественно. Произношение слов своей гортанностью напомнило Анвару речь горцев. Да и в позе, какую приняла сейчас Зайнаб, он увидел неуловимое сходство с горянками. Под влиянием стихов она как бы перевоплотилась.

— Да вы поэтесса!—с грубоватой наивностью воскликнул он.—Может, вы и в самом деле поэтесса?

— Нет, не поэтесса.—Она поднялась, отошла к дереву и, освещенная лунным лучом, вновь преобразилась. Ведь только недавно она казалась Анвару тусклой, как бы запыленной, помятой и уставшей. Сейчас она заговорила—и кажется совсем не к месту—о том, что устала от жизни. Произнесла даже какую-то весьма ординарную, пошловатую фразу о разбитом сердце... Смысл ее слов доходил до Анвара едва лишь наполовину...

—... поэт, пока не появится у него сердечная рана, не может написать хороших стихов. Вы, конечно, об этом знаете, Анвар-джон!

— У вас разве есть сердечная боль?—Анвар почувствовал, что входит в ритм ее речи, отвечает ей такими же чуть приподнятыми словами. Но и это не мешало видеть в ней другую, видеть стройное и совершенное выражение молодости, изящества и слитности с природой... Европейский костюм не вредит этому восприятию, даже помогает.

«Уж не влюблен ли я?»—подумал Анвар и почему-то ничуть не испугался этого предположения. Была уверенность—ничто дурное, грязное его не коснется. Но тут мелькнула острая, болезненная мысль: «Могу ли я рассказать об этом Сурайе?» Он поспешил себя успокоить: «Ведь ничего нет. Если даже возникло во мне восторженное чувство, если чувство это и можно назвать влюбленностью—разве повлечет оно за собой что-нибудь серьезное?.. И рассказывать не о чем».

Теперь, оправдав себя, а вернее—найдя лазейку, он с гораздо большей непринужденностью продолжал легкий разговор.

— Значит, вы ранены и сердце ваше кровоточит?—с легкой усмешкой произнес он.

— Это я говорила о прошлом. А теперь... теперь вы видите—я смеюсь.

У страдальца блеска счастья в грустном взоре не бывает,
С сердцем, много бед познавшим, скорбь в раздоре не бывает,
Чище глаз, таящих слезы, даже моря не бывает,
Не люблю людей, в чьем сердце гостьей горе не бывает[1].

— Поняли?

— Нет, не совсем,—ответил захваченный врасплох Анвар.—Вы о чем?

Зайнаб улыбнулась и продолжала декламировать:

Где друг, которому дружба всего бы дороже была,
Страдалец, чью душу горечь жестокого горя прожгла?
Где сам человек, скажи мне, и где его прах, скажи?..
Хорошей душе и чужая душа дорога и светла[1]

— А это?

— Это я понял и мне стихи понравились... Ваши?..

Она не сказала «да», но и не отрицала.

— Меня не оценили...

Она сказала это с кокетливым смешком, но Анвар чувствовал, что она может вот-вот заплакать. Он даже немного испугался. В самом деле—как быть, если заплачет? Утешать? Гладить по головке? Опасное положение. Он сказал:

— Я не смею расспрашивать вас. Но вы так хорошо говорите стихами!..

Зайнаб оценила комплимент. Благодарно взглянув на него, она продолжала:

Сопутствовать мне, одинокой, пристало только луне.
Вздохну и мой вздох подобен тяжелой морской волне.
Всего, что душе хотелось, счастливец, достиг ты уже,
А я в тоске ожиданья брожу в ночной тишине[1].

Лицо Анвара залилось краской. Неужели эта девушка признается ему в любви?.. Прямолинейность была ему неприятна. Взрослый, думающий человек, он не мог не видеть в такой откровенности распущенности чувства. Но всё смягчалось голосом, манерой чтения и тем налетом грусти, который даже прямому и откровенному признанию придает оттенок нереальности.

И всё же Анвар понял: надо остановиться. Бог знает.

---

[1] Народные стихи—перевод *В. Бугаевского.*

куда приведут эти откровенности. Он поднялся с камня и шутливо заметил:

— Детям спать пора... Как ни хорош воздух, как ни хороша поэзия—мы должны помнить о завтрашнем дне.

Он почему-то боялся, что на обратном пути Зайнаб возьмет его под руку. Нет, девушка шла на расстоянии и всю дорогу молчала.

Анвар чувствовал сердечную боль и немного снисходительную нежность. Так бывает, когда видишь молодое и красивое раненое животное.

Они бы, наверное, так молча и дошли до самого дома, но тут произошел эпизод, значение которого в их судьбе не могли знать и так никогда и не узнали ни Зайнаб, ни Анвар.

У сельсовета остановилась грузовая машина и несколько раз просигналила. Из кабины вышел какой-то человек и двинулся в сторону калитки, пробитой в дувале. Заметив это, Зайнаб подумала: «Кто-то приехал к Мухтару. Сейчас он выйдет навстречу гостю». Она замедлила шаг, чтобы скрыться за спиной Анвара... Но из калитки никто не вышел.

— Посмотрите, Зайнаб,—сказал тут Анвар,—что это за человек прятался за дерево? Видите, побежал... Наверное, кто-нибудь из моих учеников.

Тон Анвара был доброшуно-шутливым. Он и в самом деле не придал значения тому, что увидел!

А Зайнаб увидела: то был Мухтар. К нему приехали, и он вынужден был оставить свой наблюдательный пост за деревом. Значит, следил за ней. Значит, ревнует. Значит, любит. Она взглянула на Анвара. Директор школы кажется спокойным. Да и правда: что ему Мухтар! Он же не знает... Ничего не знает...

Глава 13.

У важных богачей и у больших господ
Нет в жизни радостей от множества забот,
А вот, подите же, они полны презренья
Ко всем, чьи души червь стяжанья не грызет.

Омар Хайям.

К Мухтару приехал ночной гость. Его отчим Абдулло был в городе по торговым делам и решил навестить любимого пасынка.

Он ничуть не удивился тому, что хозяин подошел к

калитке не из дома, а с улицы. Мало ли где мог быть молодой человек, да еще такой, как Мухтар. Спокойно поздоровавшись, он прошел в комнату, как завсегдатай, знающий здесь всё. Принюхавшись, сразу же понял — тут была женщина. Увидев недопитую бутылку коньяка, брезгливо поморщился, снял ее со стола.

— Сынок, — сказал он, сметая крошки большими корявыми ладонями,—ты, я вижу, совсем не бережешь сил. Ночь существует для того, чтобы спать... Сегодня, правда, нам есть о чем поговорить. Утром я должен уехать.

Мухтар поставил чайник на электрическую плитку. Он, хоть и не ждал сегодня Абдулло, постарался сделать вид, что приезд отчима его не удивил. Важно было сейчас справиться со своим волнением, не показать гостю, что мысли его всё еще там, на улице.

«Может быть так даже лучше, — подумал он, понемногу успокаиваясь.—Я ведь мог натворить ужасных глупостей...»

В самом деле, для чего он подстерегал Анвара и Зайнаб? Хотел удостовериться, что они будут возвращаться вместе? Прочитать по их лицам, что произошло там, у ручья?

Позорно изгнанный из дома Сурайе, Мухтар в тот момент был взбешен. Хотелось всё крушить, ломать, драться. К тому же он был не трезв. В том самом состоянии, когда первоначальное возбуждение, вызванное алкоголем, постепенно спадает, а на его место приходит крайняя раздражительность и тяжелая, отвратительная тоска.

Мухтар, хоть он и не сознавал этого, был человеком очень одиноким. Необходимость скрывать свои мысли, быть всегда настороже, кривить душой с людьми — всё это не проходит бесследно. Врать, врать всегда, с кем бы ты не встретился. Мало того—держать в памяти всё, что наврал раньше женщине, девушке, председателю сельсовета, председателю колхоза. Не легкая жизнь!

Он ведь рад избавиться от Зайнаб. Так зачем же теперь следить за ней? Есть ли у него сколько-нибудь осмысленные планы? Ненависть — плохой советчик. Ревность — еще худший. Мухтар хотел скандала, страстно желал опорочить семью директора школы. Внести в нее

разлад, добиться общественного осуждения и мужа и жены. Мог ли он поверить в то, что Сурайе, приняв с внешним спокойствием его сообщение, действительно не приревновала? Нет, он думал иначе. Думал, что скандал неминуем. Вот и ждать бы завтрашнего дня. А он зачем-то спрятался за дерево. Больше того, увидев, что Анвар и Зайнаб появились на улице — он весь затрясся, совсем перестал владеть собой. Еще минута, и он выбежал бы им навстречу. Может быть даже стал бы наносить оскорбления и ей, и ему.

Приезд Абдулло его спас. Только теперь Мухтар, понемногу приходя в себя, сообразил, что уличный скандал прежде всего пошел бы во вред ему самому.

Абдулло еще не приступил к делам, расспрашивал о здоровье, рассказывал о Ташкенте — какая там погода, как идет сев, как живут их общие знакомые. Мухтар мог отделываться ничего не значащими фразами. Взгляд его помимо воли обращался к бутылке, которую Абдулло поставил между тахтой и столиком. Как бы ее оттуда незаметно достать, незаметно глотнуть, поддержать силы? Старый хитрый Абдулло ухмыльнулся. Он разгадал маневры Мухтара.

— Ладно уж, налей себе, а капельку можешь налить и мне...

Мухтар поторопился выполнить его просьбу.

— Что-то я замечаю, — продолжал Абдулло, — торговый народ теперь тоже стал слишком привержен к таким напиткам. Знаешь, Мухтар, я думаю это потому, что обычное торговое дело стало незаконным. Раньше писец управы, если бы он понемножку занимался куплей-продажей, — Абдулло щелкнул жирными пальцами, — такой чиновник заслужил бы только всеобщее уважение; о нем говорили бы, как о подающем надежды. Ну, а кто ты? Спекулянт! Преступник!..

Мухтар поморщился:

— Абдулло-ака, вы говорите слишком громко и обижаете меня. Я не пьяница и никогда не стану им, но ваши мысли верны. Сейчас, что ни шаг — только и смотри — зачислят в мошенники. Давайте займемся делами, ака. Я думаю, вы приехали не только за тем, чтобы приложить к сердцу своего родственника и справиться о его здоровье.

Абдулло расхохотался:

— Ты обнажаешь зубы даже при виде друзей. Это

становится уже привычкой. Что ж, — такая жизнь!.. Ладно, дела, так дела.

Мухтар проверил заперта ли дверь, хорошо ли завешаны окна.

— Правильно, мой мальчик, правильно, — воскликнул Абдулло. Он схватил Мухтара за руку, притянул к себе, похлопал по плечу. — Ты настоящий человек. В тебя можно верить... — И вдруг горячо зашептал на ухо: — Нужен какой-нибудь дурак, понимаешь, такой, которого не жалко... Чтобы на него свалить, чтобы он оказался кое в чем виновным... Есть у тебя такой на примете, а, Мухтар?.. А не то мне и тебе придется плохо!

Мухтару стало не по себе. Начиналось то, чего он боялся: не косвенное участие в делах Абдулло, а групповое преступление... Но и увильнуть, наверное, не удастся.

— Ох, трудно, — сказал он с неопределенной интонацией. — А что? В чем дело? Мне нечего бояться!..

— Э... — Абдулло презрительно скривил губы, — я вижу ты хочешь быть умнее старших и чистеньким выйти из игры. Мы знаем о тебе кое-что достаточно серьезное, душа моя...

...Вот почему в тот вечер Анвар и Зайнаб спокойно прошли всю улицу и спокойно вошли в дом при школе.

Глава 14.

К твоим ногам кладут, как верности залог,
Обет нарушенный, и клятву, и зарок.
Но даже пери не могла бы соблазнить
Того, кто сердце положил на твой порог.
Неужто муха безрассудно улетит,
Покинув сахара сверкающий кусок?

Муслихиддин Саади.

Выпроводив Мухтара, Сурайе заперла за ним дверь и, убедившись, что дети уснули, прошла в свою комнату. Горка тетрадей ждала ее. Надо проверить, поставить отметки. В те вечера, когда Анвар где-нибудь задерживался, Сурайе обычно радовалась возможности спокойно поработать. Мухаббат и Ганиджон спят. Тикают часы. В ожидании хозяина поет свою песенку чайник.

Одно дело сказать себе: «Будь спокойна, возьми себя в руки», а другое—действительно вычеркнуть из памяти такой разговор. Сурайе не могла сосредоточиться. Она листала тетради, отмечала в них ошибки, но всё это де-

лала механически и вдруг поймала себя на том, что поставила четверку девочке, в письменной работе которой была очень серьезная ошибка.

С досадой отодвинув от себя тетради, она подумала: «Так нельзя, твои ученики тут не при чем. Мало ли какие беды могут свалиться на твою голову. Твое настроение не должно отражаться на работе, Сурайе! Вот так мы и портим характеры маленьких растущих людей»

Взглянула на обложку тетради—Мавджуда Насырова. Вспомнила хорошенькое капризное личико, своенравный ротик. Очень ей нравилась эта дочка заведующего магазином. Она считается любимицей Сурайе. Поставь она ей сейчас незаслуженную четверку—сколько было бы разговоров в классе! А больше всего—вреда самой девочке... Раздумывая таким образом, Сурайе понимала, что старается хоть как-нибудь отвлечься от того большого, что требовательно на нее давило. И еще этот запах! Назойливый, вызывающий чувство острой неприязни.

Что это? Господи, да ведь это же запах Мухтара, его духов. Опять Мухтар! Никуда от него не денешься... Забыть, забыть о нем, никогда не вспоминать. Мужу она ни за что не расскажет о его посещении. Не унизит себя до сцены, в которую неминуемо должен вылиться подобный разговор.

Но забыть не так-то просто. Запах преследует ее. Неужели он так устойчив? Сурайе отворила окошко, но и это не помогло. Тут она вспомнила, что, уходя с Мухаббат из детской, она оставила дверь открытой. Вышла в прихожую. Тут запах еще сильнее. Всё тот же назойливый аромат духов Мухтара.. Но ведь это же и запах их гостьи! Мухтар и Зайнаб душатся, оказывается, одними и теми же духами.

Правда, правда, у них есть что-то общее. Говорят, что познакомились только здесь, но уж слишком был взволнован Мухтар... Сурайе почувствовала, что след, на который напала—верен. Только вот вопрос: нужно ли идти по нему? Для чего?

Так, постепенно, все более властно захватывали Сурайе мысли, предположения, опасения. А ревность? Как только всплыло из темноты это слово, как только спросила себя Сурайе: чувствует ли она ревность?—сразу возникла слабость во всем теле. «Только не это, только не

это»,—шептали ее губы. Поддаться ревности, значит, поддаться Мухтару. Он ведь для того и приходил, чтобы впустить в их дом этого страшного зверя, вызвать раздоры, ссоры, добиться публичного скандала, разбирательства в общественных организациях...

...А мужа всё нет... И этой маленькой чертовки тоже нет. Сурайе! Как тебе не стыдно? Что плохого она тебе сделала? Почему ты так обозвала свою гостью? Только за то, что она моложе тебя, и по-другому одевается и всегда немного кокетничает? Но, ты ведь замечала—Зайнаб кокетничает не только с мужчинами. И с тобой, и с детьми. Ты сперва удивлялась, а потом поняла: в этом выражается всего лишь стремление нравиться. Всем—мужчинам, женщинам, детям, знакомым и незнакомым, просто первым встречным.

Нет, быть не может, чтобы мой Анвар, такой спокойный и рассудительный, такой солидный мог влюбиться в такую вертушку!..

Мухтар клялся, что видел их вместе. Смешно! Он мог их видеть вместе и вчера, и позавчера. Они даже оставались здесь, дома, наедине друг с другом. Почему бы им не пройтись после собрания?.. Но ведь она, кажется, беспартийная. Значит, они не могли быть вместе на собрании. Значит, встретились потом... Случайно встретились или это было заранее назначенным свиданием?..

Подозрения измучали ее. Что только ни делала она, чтобы избавиться от этих тяжелых, скверных мыслей. Сделала еще одну попытку работать. Теперь было совсем плохо—буквы сливались, строчки куда-то плыли. Она пошла к детям. Ганиджон спал в своей кроватке, которую перенесли сюда из детской, Мухаббат—на матрасике, положенном поверх сундука. Ей приставили стул, придвинули стол, положили одеяло, и все-таки девочке было неудобно. Подушка съехала. Мать подошла, подняла голову дочери, поправила подушку. Волосы девочки, заплетенные мелкими косичками, рассыпались. Не то от них, не то от сонного ее дыхания исходил нежный аромат полевых цветов.

— Как цветочек!—подумала Сурайе, и глаза ее наполнились слезами.—Когда-то и я была вот такой, как Мухаббат-джон. Спокойно и беззаботно спала, мама подходила к моиму изголовью, бабушка сидела возле меня... Как я любила их! А потом я всю свою любовь и ласку

подарила Анвару. Забыла ради него родителей, подруг... Вот наши дети—маленькие, беззащитные. Неужели им грозит беда? Неужели вся любовь и нежность отца—ложь?!

Мухаббат открыла глаза и сонно улыбнулась.

— Мамочка, это вы?—она взяла теплыми пальцами руку матери.—Я видела сон... Мне снилось, что в комнату вносят пианино. Я так радовалась, скакала Но пианино было такое тяжелое! Оно стало давить на меня, притискивать в угол. Я закричала и вот, проснулась, увидела вас.

Сурайе погладила головку девочки.

— Закрой глазки, закрой. Ты не кричала... Просто тебе здесь немножко неудобно и на новом месте непривычно. Спи, спи, маленькая.

И, уже засыпая, девочка спросила:

— А где папа?

— Он уже лег спать.

— Поцелуй его, мамочка, за меня.

Зачем она сказала неправду? Хотела успокоить дочку?

Да, случается, что ложь лучше правды, нужнее. Сурайе вернулась в комнату. Она поймала себя на том, что долго и пристально рассматривает себя в зеркало. Ну да, морщинки, усталость в глазах. Неужели из-за этого?

«Что, что из-за этого? Сурайе, опомнись!» Быстрым движением накинув платок, она открыла дверь, но не пошла на улицу—остановилась в дверях и стала смотреть вдаль.

Как только глаза ее привыкли к туманному свету луны, пробивавшемуся из-за облаков, она увидела Его и Ее. Хотела вернуться в дом, но не могла — ноги подкашивались.

А он и она шли, как ни в чем не бывало. Но вот Зайнаб вздрогнула и остановилась. Анвар тоже заметил Сурайе. Еще на расстоянии спросил:

— Кто это? Ты, Сурайе? Что с тобой? Плохо себя чувствуешь?

— Ну, конечно же, я... Не пугайтесь! Решила немного проветрить комнаты.

— Ах, я, в самом деле, испугалась,—быстро проговорила Зайнаб; в голосе ее, как всегда, было кокетство.—В городе, вы знаете, никто не держит двери открытыми, и... и... мне бог знает, что пришло в голову... Оказывается, ваш

муж любит походить и помечтать. Такое совпадение—я тоже...

— Да, да,—ответила ей Сурайе, с удивлением обнаружив, что может говорить без видимого волнения.— Проходите, пожалуйста, чай уже готов.

— Нет, нет, я была в гостях. А потом мы вот встретились... Если разрешите—я сейчас немножко поработаю и буду спать.

— Дело ваше и воля ваша,—голосом более сухим, чем ей хотелось, сказала Сурайе.

Зайнаб прошла в комнату налево, а муж с женой направо. Анвар закрыл за собой дверь.

Он снял пиджак, повесил на спинку стула, зачем-то стал поглаживать его рукой, очищать пылинки. Сурайе заметила это и тут же отвернулась. Когда стала разливать чай, рука ее тряслась.

— Зачем это ты... подстерегала... Никогда ничего подобного не было. И я не понимаю...

— Подстерегала?—как можно спокойнее переспросила Сурайе.—Мне даже странно... Я включила радио, слушала музыку и мне показалось что там... Ну, за дверью, какой-то шум. Подумала, что дети забыли запереть...

— А перед этим ты сказала, что хотела проветрить, — Анвар сел на краешек стула и придвинул к себе пиалу.— Чай слабый.—Он принужденно рассмеялся.—Уж не спросонья ли ты его заварила?

Возникло то настороженное, крайне тяжелое состояние, которое легко приводит к взрыву. И муж и жена тщательно обдумывали каждую фразу, прежде чем ее произнести. Старались быть спокойными. А получалось всё не так. И обдуманные фразы на самом деле были как раз теми, которые вовсе не стоило произносить. И спокойствие было деланным.

Сурайе хотела было рассказать о посещении Мухтара. В самом деле, для чего это скрывать? Мужа надо предупредить. Но вот ведь зачем-то свалила на детей, а до того постаралась оправдаться, и придумала, что хотела проветрить квартиру...

Анвару явно не по себе. Придирается к чаю и тоже, наверное, хочет отвлечь, оттянуть возможный разговор и нарастающую ссору.

Теперь уже просто невозможно рассказать о Мухтаре.

Придется вернуться к этому завтра. Сейчас нужно... да, да, обязательно нужно скрыть кипящую в сердце ревность. Взять себя в руки...

— Это такой чай, такой сорт. Я высыпала чуть ли не полную пригоршню... Вот удивительно—сорт один, и упаковка такая же, но в разных партиях разный чай.—Она вцепилась в эту тему и готова была прочитать лекцию о чае, только бы не возвращаться к тому страшному, что витает в воздухе.—Этот чай надо бы подольше кипятить. А вообще хороший сорт, девяносто пятый номер, самаркандской фабрики. Ароматичный. И горечь у него не резкая...—Что еще можно сказать о чае? Только бы не молчать.—Я заметила, что некоторые сорта окрашивают посуду, потом ее трудно мыть.

Анвар с благодарностью посмотрел на жену. За это время и он немного успокоился, привел свои чувства в порядок, стал естественным, плотнее уселся на стуле, сделал глоток чаю...

— Это бывает,—сказал он,—еще и в тех случаях, когда чай долго стоит. Он как бы перерождается: теряет вкус и дает осадок. Химия.

— Хотите, я заварю свежий?

Анвар промолчал. Сделал несколько глотков. Подумал, что зря сказал о том, что чай стоял долго. Жена может обратить на это внимание: чай ждал его. Но Сурайе уже овладела собой.

— Вот, попробуйте пирожки. Подруга принесла. Прямо во рту тают. Тесто слоеное и рассыпчатое.

— Я не голоден. А вот если что-нибудь сладкое...

— Вот айвовое варенье...

— А набот[1] есть?

— Есть, есть!

Сурайе подбежала к сундуку с продуктами, откинула крышку и положила на блюдечко куски набота. И, все-таки, когда ставила блюдце на стол, не сумела скрыть дрожь руки.

— Я вижу, ты скрываешь волнение,—сказал Анвар голосом полным участия.—И немного побледнела. Может быть, обиделась на мою резкость? Если я тебя обидел—

---

1 *Набот* — леденец.

прости. Знаешь, как это бывает... Были там, на партсобрании вопросы, которые всегда меня нервируют. Поспорили бригадиры ...Почему-то я, учитель, должен всегда их разнимать...

— Нет, я не обижаюсь,—опустив голову, проговорила Сурайе,—и тоже раскаиваюсь. Беспричинно тоскуя и беспокоясь, я вышла на улицу... Испугала нашу гостью. Извините меня.

Лучше бы Сурайе ударила его или обругала! Анвару захотелось тут же признаться во всем. Признаться в том, что душу его охватила влюбленность, необъяснимое и неосознанное состояние приподнятости. Но тут же он нашел себе оправдание: «Я не имею права говорить о том, что затрагивает не одного меня. Зайнаб уедет—тогда я, конечно, всё расскажу Сурайе, а сейчас... Могу ли я рисковать спокойствием гостьи? И могу ли поручиться, что Сурайе правильно меня поймет—не увидит в моих поступках измены?» И все же он понимал, что не сказать ничего тоже нельзя. Обратить всё в шутку? Он обнял жену и, стараясь глядеть ей прямо в глаза, улыбнувшись, проговорил:

— Мы такие ревнивые, мы приревновали к маленькой инспекторше...

— Что, что? Приревновала?!—воскликнула Сурайе, рассмеявшись.—Ну, уж нет! Мы с вами пережили это время. Вы старик, а я старуха! Ни вы девушкам не нужны, ни мне давным давно никто не нужен.

— Ах, вот оно что!—с шутливой серьезностью ответил Анвар и погрозил пальцем.—Знаем мы таких старушек! Если появляется в доме молодой мужчина—она сразу начинает прихорашиваться... Но, в порядке самокритики, должен признать—я не остаюсь равнодушным, если на меня поглядывают девушки.

— На вас поглядывают?—Сурайе опять рассмеялась, хотя в глазах ее вновь появилось затаенное подозрение.—Ох, вы, луноликие юноши!

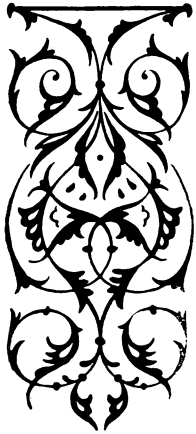
И выражение это пришлось так кстати, так понравилось Сурайе, что она искренне и очень громко расхохоталась. Невольно и Анвар рассмеялся. Тут раздался стук в дверь, вошла Зайнаб.

— Услышала, как вы веселитесь и позавидовала... Расскажите, расскажите, если это только не секрет.

— Да это вот он!—продолжая смеяться, ответила Сурайе,—такое наговорил, что умрешь с хохоту...

Но Анвар уже не смеялся. Он задумался, поглядывая то в лицо Сурайе, то в лицо Зайнаб...

ЧАСТЬ ВТОРАЯ



Глава 1.

Цветок мне улыбнулся—пленился я.—
Лишь взора взор коснулся—влюбился я.
Влюбился так, что больше нельзя любить,—
Как может сердце столько любви вместить?!
Стою пред красотою—чего мне ждать?
Как путник под грозою,—чего мне ждать?

(Из народной песни).

«...Вы толкнули меня на эти размышления, товарищ прокурор. Я вам очень благодарен. Пишу для себя, стараюсь понять, как всё произошло, стараюсь всё вспомнить и быть с собой откровенным до конца. Это не легко... Часто я ловил себя на том, что жажда самооправдания уводила меня в сторону от истины: я готов был истолковать многие свои поступки всего лишь, как ответ на действия других. Нужна большая честность с самим собой, чтобы вновь не оказаться в хорошо сплетенной сети самообмана...

Я пишу это, когда уже всё решено, когда закон определил и меру преступности и меру наказания. Я понимаю, что закон не может входить в рассмотрение всех подробностей, всех маленьких ручейков, слившихся в тот темный, зловонный поток, в котором чуть не утонул я сам, чуть не утопил жену, детей и ту, что казалась глав-

ной виновницей... Но довольно общих рассуждений, довольно слов, хотя бы и покаянных! К делу, к делу! Вспоминай подробности, обдумывай их и оценивай без жалости к самому себе, без скидок на взволнованность, на несовершенство рода человеческого и т. д.

В ту ночь я позволил себе сравнивать... Две женщины стояли рядом—жена моя Сурайе и гостья, прелестная Зайнаб... Я не видел ни ту Сурайе, которой двенадцать лет тому назад признался в любви, ни ту Сурайе, которая родила и воспитала двух наших детей. Главное же—я не видел своего самого родного и самого близкого человека, друга. Что случилось? Как мог я, бросая поочередно взгляды то на одну, то на другую, только и видеть серое, утомленное и, как мне казалось, недоброжелательное лицо одной, и сияющее, радостное лицо другой. Конечно, если бы я сам спросил себя тогда: уж не молодость ли прельщает тебя, Анвар?—ответил бы с негодованием—«Нет, нет!..» Стыдно было бы признаться, что всё происходило именно так. Да и думал ли я в тот момент, способен ли я был взвешивать и оценивать свои чувства и свои поступки?

Сурайе мне мешала—вот и всё. Отнимала у меня радостное волнение влюбленности, восторга, вдохновения. Одним лишь своим присутствием она побуждала меня к лжи, к скрытности и недостойной игре. Весь этот день и весь вечер я был во власти чар и чары эти ничуть не мешали... Задумываться не хотелось, не хотелось знать и объяснять, откуда все это взялось и к чему приведет...

Зайнаб тут же ушла. А я?... Я остался наедине с женой, в той же комнате, где мы только что были втроем. Да, если следовать фактам, это было действительно так. Но в ту ночь факты и действительность потеряли свое значение. Воображением своим я был у Зайнаб, продолжал разговор, начатый еще у водопада... Ну, вот, опять не то, опять я не вполне откровенен. Воображение рисовало мне вовсе не слова и не фразы. Мысленным взором я жадно смотрел на то, как она раздевается и ложится в постель. Я дышал ароматом ее духов и руки мои невольно тянулись к ней.

Неожиданно я услышал голос Сурайе. Голос, но не смысл того, что она давно уже говорила.

— Пожалуйста, пожалуйста,—ответил я, не думая, словами, которые могли подойти к чему угодно.

Помню, Сурайе посмотрела на меня с удивлением. Она уже разделась, и у меня возникло желание, чтобы она скорее, как можно скорее скрылась под одеялом. Я отвернулся и сжал голову руками.

— У вас голова болит?—спросила меня жена.

Я обрадовался выходу из положения.

— Очень, очень. Но это ничего, пройдет. Ложись и не обращай на меня внимания. Мне еще нужно поработать.

Я погасил верхний свет, пересел к письменному столу и сделал вид, что подбираю нужные книги. Пододвинул к себе бумагу, обмакнул перо в чернильницу... В этот момент в кухне закричал спросонок Ганиджон:

— Папа, папа!

Обычно наш малыш, если просыпался ночью, всегда звал меня. Я люблю подойти к его постельке, успокоить, а если надо—помочь подняться. Люблю обнять горячее тельце... На этот раз я даже не шевельнулся, будто и не слышал. Сурайе откинула одеяло, вскочила с постели и пробежала босыми ногами за моей спиной. Было страшно обернуться: так не хотелось видеть ее в тот момент. Потом донесся ее голос из кухни:

— Спи, маленький, спи. Папа не может, папа работает.

— Опять работает!... Я хочу папу, пусть придет папа!—повторял Ганиджон капризным спросонья голосом.

Но я так и не поднялся и почувствовал большое облегчение, когда услыхал, как вернулась Сурайе, как скрипнули пружины матраца: она устраивалась поудобнее.

«Папа работает!»

Только много позднее до меня дошел иронический, почти издевательский смысл этой фразы. Нет, папа не работал. Тридцатидвухлетний папочка, весьма уважаемый педагог, занимался в этот момент тем, что пытался выразить обуревавшие его чувства стихами. Как знать, уж не хотелось ли мне во что бы то ни стало перещеголять в поэзии нашу гостью? Музыка стихов всё еще звенела в моих ушах. Я не мог вспомнить ни одной строчки из того, что Зайнаб читала у водопада. Слышал голос, видел каждый ее жест, видел губы, глаза, наклон головы, грустное и в то же время кокетливое выражение. Что же я вознамерился сказать ей стихами и почему обязательно

стихами? Долго я мучил свое перо. Хорошо еще—сам видел, как беспомощен я в роли поэта. «Грезы, слезы, розы... Уста, ланиты, перси...» так и лезли на бумагу. Почему это у человека нашего времени, занятого прозаическим и скромным трудом, как только впадет он в состояние беспредметного восторга, так и являются стародавние слова? Откуда? В какой части черепной коробки они находят себе убежище?

Уже светало. Давно утихла в своей постели Сурайе. Дыхание ее было неровным. Мне казалось временами, что она старается подавить рыдания. Никакой жалости, никакого сочувствия не питал я к ней в ту ночь. Если бы она громко расплакалась, я бы, наверное, закричал, грубо оборвал, назвал бы все ее чувства истерикой и кривлянием.

Я писал и писал, строчку за строчкой. Писал и тут же зачеркивал. Рисовал на полях какие-то фигурки, профили мужские и женские, а стихи всё не получались. И вдохновение не помогало. Раз семьдесят, не меньше, я уже написал слово «люблю», нагромождая и слева и справа от него пышные эпитеты. Но не было ни изящества, ни легкости. И не было, как это ни странно, любви.

Я был как бегущая лошадь. Задыхался от страсти, но ни на минуту не чувствовал спада или усталости... Помню, правда, пробрался в мое сознание ехидный вопрос: «Почему же утром, во время урока литературы, вдохновение, вызванное присутствием этой девушки, помогло тебе и ты рассказывал так горячо, так убедительно? А теперь тобой правит безвкусица и пошлость?» Я не стал отвечать себе. Рука моя потянулась к книге, прекрасно изданному томику стихов Саади. Я раскрыл его наудачу. То, что прочитал—воспринял в тот момент, как голос самой судьбы, как предзнаменование.

Тайну я хотел сберечь, но не уберег,—
Прикасавшийся к огню пламенем объят.

Говорил рассудок мне: берегись любви!
Но рассудок жалкий мой помутил твой взгляд.

Речи близких для меня—злая болтовня.
Речи нежные твои песнею звенят.

Чтоб умерить страсти пыл, скрой свое лицо,
Я же глаз не отведу, хоть и был бы рад.

Если музыка в саду—слушать не пойду,
Для влюбленных душ она, как смертельный яд.

Этой ночью приходи утолить любовь,—
Не смыкал бессонных глаз много дней подряд.

Уязвленному скажу о моей тоске,
А здоровые душой горя не простят.

Не тверди мне: «Саади, брось тропу любви!»
Я не внемлю ничему, не вернусь назад.

Пусть пустынею бреду, счастья не найду,—
Невозможен все равно для меня возврат.

Читая два последних байта[1], я как бы читал свой приговор, и несколько раз косился в сторону Сурайе, будто она могла слышать, с какой силой звучит в моей душе эта газель[2].

В правом ящике стола, в самом низу, хранилась у меня папка с особенно хорошей, плотной, глянцевой бумагой. На бумаге этой я обычно писал почетные грамоты и благодарности ученикам, хорошо поработавшим на уборке хлопка. Я нарочно запрятал эту папку поглубже. Несколько дней назад дочка просила: «Папочка, дай листик. Мне нужно, папочка, очень нужно!» Я ей отказал, и она огорчилась, капризно сжала губки: «Уйдешь, я все равно найду!» Как же я рассердился, довел девочку до слез. Сурайе, которая слышала этот разговор, не проронила ни слова. Только потом сказала: «Ты был несправедлив». Мы с женой давно условились—не подвергать сомнениям сказанное одним из нас, обсуждать приемы воспитания только в отсутствие детей. «Я был бы неправ,—ответил я тогда,—если бы Мухаббат сказала, для чего ей нужна эта бумага». И Сурайе под секретом объяснила мне: «Мухаббат хотела ко дню рождения папы сделать ему подарок. Сюрприз. Теперь ясно?... Стихи, стихи, посвященные вашей персоне».

Удивительное совпадение! Дочка хотела втайне от меня взять эту бумагу, чтобы написать на ней стихи, а тут, ранним утром, ее строгий отец, тихо-тихо, стараясь не разбудить жену, вытягивает заветную папку из ящика стола...

---

[1] *Байт*—двустишие.

[2] *Газель* (газель, газелла)—небольшое (не более одиннадцати двустиший) стихотворение лирического характера, пронизанное обычно единством не столько сюжета, сколько настроения поэта; рифмуется насквозь одной рифмой (монорифмой) по схеме—аа, ба, ва и т. д.; иногда в нем после рифмы стоит рефреном одно или несколько слов (так назыв. «редиф»).

Стремясь писать как можно красивее, я полчаса, не меньше, выводил букву за буквой, строчку за строчкой. В предпоследнем байте вместо: «Не тверди мне: «Саади, брось тропу любви!»—я написал—«Не тверди мне: «Анвар-джон, брось тропу любви!»

Стыдно: я еще долго думал—указать ли источник, из которого я почерпнул эти стихи. И только потому, что Зайнаб, видимо, была хорошо знакома с поэзией, я не решился подписать свое имя. Но и о Саади не упомянул.

Дождавшись, когда чернила высохли, я свернул лист в трубку и перевязал шелковой ленточкой, закладкой, которую вырвал из томика Саади.

Если б Сурайе проснулась! Наверное, меня можно было принять за вора, пробравшегося в чужую квартиру. Затаив дыхание, на цыпочках, пошел я к двери и, надо же,—(какая предусмотрительность!),—заглянул в зеркало, поправил прическу. Дверь нашей комнаты скрипела, давно бы ее смазать, но мы привыкли к этому скрипу. Обычно, если надо было выйти, я не думал—разбужу ли Сурайе. На этот раз, я стоял в нерешительности, пожалуй, не меньше двух минут. Потом резким движением дернул дверь. Она почти не скрипнула. Я вышел и не закрыл ее за собой.

Так же на цыпочках, я пробрался к выходу из квартиры... План был таков: бросить бумагу со стихами через открытую форточку прямо на постель Зайнаб. Когда проснется—прочитает... Теперь, вспоминая всё шаг за шагом, я представляюсь себе сумасшедшим. Чего я добивался, какого эффекта? Просто хотел излиться, не мог иначе... Я осторожно повернул ключ, толкнул плечом дверь... С удивлением обнаружил, что уже почти светло, что кишлачная улица начала жить. Во дворе напротив закукарекал петух, откликнулся осел, слышались голоса вышедших во дворы хозяек. Холодный свежий воздух ворвался в мои легкие и на секунду отрезвил меня. Но только на секунду. Посмотрев направо и налево и убедившись, что людей на улице еще нет, я с самым независимым видом пошел вдоль дома к окну детской комнаты.

К моему удивлению окно было растворено настежь. Распахнутая рама не сразу позволила мне увидеть, что там за ней. Когда же я сделал еще два или три шага, то замер на месте: Зайнаб сидела у окна, положив голову на руки. Волосы ее растрепал ветер; лицо было повернуто

в другую сторону. Шум моих шагов ее не встревожил. И всё же я еще не был уверен в том, что она спит.

— Зайнаб!—одним дыханием проговорил я. Она не шелохнулась.—Зайнаб!—повторил я громким шопотом. Мне хотелось, чтобы она повернула голову, хотелось, чтобы ее глаза вот так, совершенно неожиданно встретились с моими и сказали всю правду.

«Но какая же тебе нужна еще правда? Какие еще признания?—с умилением говорил я себе.—Разве и без того непонятно: она так же, как и ты, не спала всю ночь. Сидела и мечтала, и, кто знает, может быть тоже сочиняла стихи...»

Сколько времени прошло с того утра? Меньше двух недель. А я пишу без волнения, и слово «стихи» вызывает во мне только досаду. Но разве я тогда лгал? Разве в том, что я испытывал, была хоть тень чего-либо недостойного или грязного? И сейчас скажу: нет, нет и нет! Восторг, охвативший меня, трепет моего сердца, радость и умиление—всё было предельно искренне и захватило мое существо с такой силой, что бороться я не мог.

Мне ведь ни разу и в голову не пришло, что я виден любому из соседей—пусть только пожелают выглянуть в окно или показаться на улице. Рука Зайнаб, лежавшая на подоконнике, чуть выступала вперед, кисть ее была полураскрыта: будто просила о чем-то, ждала подаяния счастья.

— Зайнаб!—прошептал я и тут же вложил в ладонь свернутые в трубочку стихи.

Она вздрогнула, пальцы ее конвульсивно сжались, но девушка не проснулась, а только вздохнула; я почувствовал ее дыхание на своей руке, оно меня обожгло... Окончательно потеряв над собой власть, я взял ее голову руками, поцеловал лоб, поцеловал закрытые глаза, и губы мои шептали одно только слово: «Зайнаб, Зайнаб, Зайнаб!».

Она вскрикнула, но очень тихо. Глазами, полными ужаса, посмотрела на меня и отпрянула назад, в глубину комнаты. Кажется, девушка не узнала меня...

— Что это? Кто? Почему?—бормотала она...

...Что было в то утро дальше—не знаю, почти не помню... Двери школы были уже отворены. Я вошел и очень удивил этим уборщицу-старушку Шарафатхолу. Очень

обидчивая, она сразу же решила, что я нарочно встал в такую рань, чтобы ее проконтролировать.

— Вот, посмотрите, вот, посмотрите, Анвар-джон,—забыв поздороваться, закричала она и всё показывала на бумажный пакет с белым порошком:—Видите, я мою полы с содой, я же не виновата, что ее уходит так много. Вот, посмотрите, я сыплю, не жалея, только так и можно добиться чистоты. Хорошо еще, что приехала инспекторша из облоно,—завхоз все эти дни дает мне соду без ограничения, а так, попробуй, добейся от него...

Начиналось утро, начинался рядовой рабочий день директора школы...»

Глава 2.

Рок громоздит такие горы зол,
Их вечный гнет над сердцем так тяжел!
Но, если б ты разрыл их! Сколько чудных,
Сияющих алмазов ты б нашел!

Омар Хайям.

Записки Анвара не прекращаются на этом месте. В его довольно пространной исповеди, написанной через две недели после событий, даже на первой странице, мы уже слышим нотки раскаяния. У нас нет никаких оснований сомневаться в искренности автора. Он откровенен, он не отступает от фактов, сообщает, не щадя своего самолюбия, весьма интимные подробности. Бывший директор школы находит в себе силы иронизировать над собой. Он явно подсмеивается над тем, что мог так безрассудно влюбиться. Что ж, для этого нужно не малое мужество.

Заметим, однако, что в записках Анвара есть изъян, свойственный, впрочем, всем запискам подобного рода. Изъян этот в том, что автор видит в происходящем, прежде всего, драму своей жизни. Он описывает и оценивает факты, пережитые им самим. Что делали остальные участники событий, о чем думали, каковы были их переживания—он мог узнать только значительно позднее и далеко не всё.

Анвар получил тяжелый урок. Дальше он пишет и о выводах, которые для себя сделал. Это интересно и поучительно. И все же, — давайте на время прервем чте-

ние его воспоминаний. Посмотрим, что происходило с другими. Заглянем в души Сурайе и Зайнаб. Да, да, и Зайнаб! Ведь ее роль была довольно заметной... Мы даже знаем людей, склонных думать, что во всем, решительно во всем, виновата злая инспекторша Зайнаб Кабирова. По их мнению, она, лишь она одна вызвала потрясения, которые долго будут помнить не только люди, замешанные в них, но и все другие жители кишлака Лолазор.

Так ли это?

Анвар, например, с этим не согласен.

...Зайнаб провела ужасную ночь.

Ее измучили мысли. Никогда не приходилось ей сталкиваться с таким обилием противоречий, с необходимостью рассуждать и размышлять о стольких событиях одновременно. С кем посоветоваться? Кому рассказать? Кто может ей помочь, хотя бы в том, чтобы разобраться в собственных чувствах?

«Мама, мамочка! — часто повторяла она в мыслях.— Что же мне делать? Как быть, дорогая моя мамочка?» Ну, конечно же, это вовсе не было обращением к Ойшебиби. Просто Зайнаб еще не отвыкла от детского восклицания, а если бы она была сейчас дома — могла бы положить голову на колени своей мамочке и всплакнуть... но только всплакнуть. Рассказать нельзя, да и бесполезно.

Скоро сессия. Надо много работать, готовиться. Вот тут, в чемоданчике, учебник педагогики, но разве до педагогики сейчас! Она улыбнулась жалкой и грустной улыбкой: вокруг педагоги, и всё в ее жизни давно связано с педагогами и педагогикой, то есть с вопросами воспитания, а себя она не умеет, не может воспитать. Не знает толком, чего от себя требовать. Даже не знает, чего хочет...

Чужая комната в чужом доме... Но как удивительно— в этой небольшой светлой, чистой комнатке ей хорошо. Было...да было хорошо. До сегодняшнего вечера.

Она приходила от Мухтара, — усталая, разбитая и даже чуть пьяная от возвратившейся после долгого перерыва любви. Вчера она была уверена, что любит, страстно любит этого человека. Веселого и резкого, ласкового и властного до грубости, ловкого и совершенно беспеч-

ного, хитрого и такого неустроенного. А главное—своего, родного. Давно, ох как давно, их жизни связались и переплелись. Сколько раз казалось, что всё кончено—он разлюбил, она смирилась с разлукой. Но чувство вспыхивало снова, и разгоралось и опять затухало... Сюда она приехала, чтобы решить окончательно...

Смешно! В городе, за день до отъезда, она рассказала маме, что Гаюр-заде требует решительного ответа. И мама сказала — «Соглашайся», — и она сама на какой-то час вообразила: вот выход из положения. А когда увидела Мухтара—всё вернулось. Сердце запрыгало, и если б могло кричать — закричало бы от радости... Но пришел сегодняшний день. Какой страшный, какой необычный и удивительный... «Ничего, ничего не понимаю!»

День мыслей. Ужасно много она сегодня думала: можно с ума сойти. Такие спокойные мечтательные мысли утром, когда они сидели вот в этой комнатке с Мухаббат. Ганиджон играл во дворе, Анвар и Сурайе уже ушли в школу, а Мухаббат и Зайнаб, — две заговорщицы, — перебирали игрушки и целых полчаса играли в куклы. Мухаббат рассказала биографии всех своих четырех «дочерей». Милая, нежная и такая уютная девочка Мухаббат...

Что-то еще мелькает в памяти, что-то очень забавное и тоже происшедшее утром... Ах, да, — Мухаббат ее ласково обняла, несколько раз поцеловала и сказала: — «Какая вы красивая, тетя Зайнаб, я вас очень люблю. Мы все любуемся на вас. Только некоторые девочки не понимают, как вы можете ходить в туфлях на высоких каблуках и почему у вас такие крохотные ножки... Можно, я примерю ваши туфли? Я хочу во всем, во всем быть похожей на вас... когда вырасту!»

— А я бы хотела быть девочкой, как ты. И чтобы у меня был такой хороший папа и такая чудесная и ласковая мама. Трудно быть взрослой... В детстве меня баловали... Ну, об этом я тебе не буду рассказывать... Не надо, не надо, — и у нее навернулись слезы на глазах.

В этом была первая утренняя радость, — раздумчивая радость души. Она вызвала мечту о доброй, деятельной и спокойной жизни в таком вот Лолазоре. Мечту о собственной семье, о детях. Неясную, смутную, но трогательную и очень чистую.

Как трудно вспоминать по порядку! Мысли бегут, бегут, обгоняют друг друга, перекрещиваются. Раньше, если случалось много думать вечером, — обязательно хотелось лечь. А если ложилась, — тут же засыпала. Сегодня всё по другому. Постель давно приготовлена—ее наверное, раскрыла Сурайе. Лечь бы, приникнуть к подушке. В доме давно тихо. Но нет, Зайнаб стоит посреди комнаты, как потерянная, и прислушивается. И то ей мерещится, что за окном притаился и тяжело дышит Мухтар, то кажется, что Анвар и Сурайе опять смеются... Да, конечно же, над ней, над ее глупыми стихами, над тем, что она потащила взрослого и такого умного человека гулять... «Неправда, это он меня позвал, я не могла отказаться. Утром он всколыхнул всю мою душу, вызвал в ней бурю. Как же отказаться от возможности с ним поговорить наедине, вылить свое настроение?!»

Много странного и непонятного даже в самых хороших людях! Анвар — солидный и серьезный человек — зачем-то заигрывает с ней. Когда они сидели у ручья, он смотрел на нее взглядом влюбленного юноши. И, действительно, помолодел. Невозможно было не отвечать на его улыбки и призывные взгляды хотя бы с сочувствием. Была минута — там, у ручья, ей показалось, что он хочет притянуть ее к себе и поцеловать. Она тогда поднялась с камня и отошла... Боялась за себя? Ну и что же—боялась! Он ведь весь день сегодня такой красивый. И ни одной только наружной красотой. Он красив душевно, с самого утра. Как, как... Белинский. Не совсем, конечно. Белинский был худенький и щуплый, Анвар — богатырь!

Как же это вышло, что такой проницательный человек, тонко чувствующий литературу, и вдруг не понял, что своими стихами она ему намекала на желание рассказать о себе, посоветоваться?! И еще глупее получилось у входа в дом. Сурайе, милая Сурайе, их встречала и пригласила поужинать, сама своими руками приготовила постель, взбила подушки, а потом хохотала вместе с мужем над ней. Над кем же еще? В последнюю минуту Анвар смотрел то на жену, то на нее, Зайнаб и, должно быть, думал: «Ну, и глупенькая, ну, и пустенькая же ты девчонка, а еще называешься инспектором! Что ты в сравнении с моей женой?»...

«...А вдруг он, а вдруг они...—с ужасом подумала

Зайнаб, — знают о Мухтаре, о наших встречах... Анвар видел, что я стояла недалеко от сельсовета. Анвар просто весь вечер потешался надо мной, и потом еще рассказал жене...»

От этого предположения Зайнаб похолодела. У нее задрожали колени. Она упала на постель, но тут же вскочила, погасила свет и настежь отворила окно. Стоять она не могла. Пододвинула стул и долго еще полулежала на подоконнике, глядя и не глядя на затихшую, пустынную улицу кишлака.

Луну заволокли тучи. Порывистый ветер приходил волнами, трепал на деревьях молодую листву, кружил пыль и вдруг стихал. Сонно тявкали собаки и где-то далеко, в той стороне, где жил Мухтар, постукивал и постукивал движок электростанции, напоминая о непрекращающейся ни на минуту деятельности людей.

Зайнаб вдруг ощутила горячую струйку, текущую по щеке. Соленая слеза попала на губу. Так плачут дети и очень беспомощные женщины. Думать, размышлять для таких женщин всё равно, что страдать. Мысли или раздражают их или утомляют и опустошают. Разгоряченное воображение Зайнаб рисовало ей картины, одну страшнее другой. Подозрительность, воспитанная в ней Мухтаром, легко разрушила воздушный замок, возникший за этот день.

Сейчас она ругала, проклинала себя за то, что поддалась очарованию, поверила в искренность и возвышенность Анвара и Сурайе; она не могла их разделить, думать о них порознь.

Всего каких-нибудь два часа назад она с негодованием отмела попытки Мухтара очернить эту семью. Она почти не слушала его и весело смеялась, когда Мухтар говорил про директора школы, что тот любит ходить в гости к молодым мамашам под предлогом необходимости познакомиться с бытом ученика.

«Он бабник, бабник, твой директоришка! — кричал Мухтар. — Вы все чуете таких вот юбочников! — Вижу, что влюбилась... Небось, уже приставал!»

Она спросила его тогда, полушутя: «Зачем же вы сами поселили меня в этом доме?» И он ответил... Ответ его в тот момент возмутил Зайнаб. Какая же она простушка, какая наивная и глупая по сравнению с Мухта-

ром! Мухтар знает жизнь и знает, как нужно быть осторожным с людьми: всегда иметь против них оружие, чтобы—если потребуется—отомстить, «Эх, ты, спрашиваешь зачем поселил? Я же тебе помогаю узнать всю подноготную людей, которые травили меня, которые и сейчас рады меня утопить... А ты разнюнилась, растаяла... Инспекторша!»

«Верно, верно, как всё это верно! Анвар нашел меня возле самого сельсовета. И он, и Сурайе давно выследили, где я бываю вечерами. Может быть, даже позвонили Гаюр-заде. А что я знаю о них? Что она прекрасная жена и мать. Что он хороший учитель. Поддалась гипнозу его слов, весь день хожу, очарованная, и вместе гуляла и вообразила, что он влюбился... Сама чуть не влюбилась. Сравнивала его с Мухтаром, с моим Мухтаром! Сравнивала и говорила себе: вот образец, вот идеал!»

Отчаяние охватило Зайнаб. Для нее всё кончено. Мухтар следил — он никогда не поверит, что я только прогуливалась. Да, да, он следил и бешено ревновал, настоящий, сильный, глубоко любящий человек!.. Не простит и не поверит ни одному слову.

Тусклый свет луны, пробивающийся сквозь тучи, смешивался уже с бледным светом утренней зари. Всё тело Зайнаб ныло от лихорадочного напряжения. Слез уже не было. Их заменила тупая тоска безнадежности. Опять она вспомнила о маме, вернее, на ум пришло слово «мама», мелькало в ее сознании все чаще и чаще — как призыв и как единственное прибежище. А рядом с мамой, с ее дорогой, старенькой и в то же время такой сердитой мамой, ходил и густым голосом бубнил слова осуждения Гаюр-заде. Жених. Обеспеченный и, как все говорят, очень славный человек. «Зайнаб, Зайнаб!» — повторял он бессмысленно и смотрел на нее с ужасом и презрением.

И тут она ощутила прикосновение чьих-то губ, кто-то охватил руками ее голову... Гаюр-заде! Как он смеет? Она вырвалась, отпрянула назад и... очнувшись, увидела себя в той же комнатке. Значит, спала, значит, это был сон!

За окном прошуршали чьи-то торопливые шаги, и тут она заметила у себя в руке свернутый в трубочку, перевязанный ленточкой, лист бумаги.

Глава 3.

У моря скорби берегов не видно.
Нигде счастливых очагов не видно.
Скажи, куда покой земной девался?
Здесь в доме мира мирных снов не видно.

Убайд Зокони.

— Пишите, дети!... Раньше в зоне нашего сельсовета было восемь колхозов и в каждом колхозе по шесть бригад... Написали?—Сурайе привычно оглядела класс. Дети склонились над партами и старательно выводили буквы. Только одна девочка застыла в напряженной позе и, кажется, ничего не слушала.

— Гульмох! Что с тобой?

Девочка не откликнулась. Сурайе продолжала диктовать, — но теперь уж искоса наблюдала за хорошенькой девчуркой, с родинкой на щеке. Она хоть и начала писать, но видно было, что это ей стоит большого усилия

— Итак, — продолжала учительница, — в каждом колхозе по шесть бригад... Записали?... А на каждую бригаду приходилось по двадцать пять гектаров земли. Точка. Сейчас колхозы слились в один и в этом объединенном колхозе восемь... Повторяю, восемь бригад. Спрашивается: сколько земли обрабатывает каждая бригада объединенного колхоза? Так... Гульмох, а ты все-таки не пишешь...

Сурайе, диктуя, прохаживалась по классу. Слова она чеканила с привычной четкостью. Казалось, сегодня она ничем не отличается от вчерашней, строгой и требовательной, учительницы. И, правда, здесь, в классе, она обрела уверенность. Бессонная ночь оставила следы на ее лице. Но здесь ведь нет зеркала, Сурайе не видит себя, а трудовые навыки, необходимость всегда помнить о том, что за тобой наблюдают тридцать пар детских глаз — поневоле подтягивают.

Сурайе провела урок спокойно, и никто из детей, кажется, не заметил ее душевного состояния. В самом конце урока, когда она стала диктовать задачу на дом и увидела Гульмох, увидела, что с девочкой творится неладное — поняла: острота восприятия изменила ей. «Досадно, очень досадно! — подумала Сурайе, — значит, я прозевала какое-то немаловажное происшествие».

Сурайе подошла к девочке, сидевшей на последней

парте, рядом с очень проказливым, шустрым мальчуганом. Обычно, этот мальчик толкал и обижал Гульмох, радовался ее неудачам. Сейчас—Сурайе это заметила—мальчик с пристальном вниманием следил за тем, что произойдет.

— Я тебя не узнаю! — с этими словами Сурайе взяла тетрадку Гульмох. — Ты не записываешь? — Сурайе помимо воли говорила раздраженно. Она была недовольна собой.

— Гульмох потом... спишет с моей тетрадки, — сказал мальчик.

Сурайе насторожилась. Тут что-то не так...

— С твоей? А сама что? — спросила учительница, повернувшись к девочке.

Гульмох потупилась и ничего не ответила. Казалось, она вот-вот заплачет.

— Это последнее в четверти домашнее задание, — сказала, обращаясь ко всем, Сурайе.

Ей было важно понять, как относится класс и к происшествию и к ее состоянию, видят ли дети, что сегодня она не такая... Дети были очевидно смущены. В выражении их лиц Сурайе читала: «Ты не такая. Мы тебя не узнаем. У нашего товарища несчастье, и все мы об этом знаем, а ты, наш самый большой товарищ, самый умный и сильный, ничего не видишь». В таких условиях педагог должен круто и в то же время незаметно изменить поведение.

— Дети! — громче обычного сказала Сурайе. — Это не просто домашнее задание. По тому, как вы в нем разберетесь, будет видно: можете ли вы самостоятельно мыслить... Думать, — поправилась она. — Я вижу, у Гульмох какая-то неприятность. Мы с ней поговорим после урока. Очень хорошо, что вы все относитесь к ней с сочувствием. Вы — хорошие товарищи, хорошие дети. Но... вы должны помнить: мы все, и большие и маленькие, случается, попадаем в трудные положения. Это не значит, что можно отдаваться своим переживаниям и забросить порученное нам дело...

Гульмох всхлипнула и вдруг дала волю слезам. Все дети затаили дыхание. Поглаживая девочку по голове, но обращаясь ко всему классу, Сурайе продолжала:

— Работать всё равно нам необходимо. И вам и мне!

Тут она невольно покраснела: «Зачем я сказала «мне»?

Зачем дала возможность ребятам подумать, что сказанное относится не только к Гульмох, но и к моему состоянию?»

— Ахмад, — обратилась она к соседу Гульмох по парте, — прочитай по своей тетрадке, какой вопрос поставлен в задаче.

— Сколько земли обрабатывает каждая бригада объединенного колхоза,—звонким голосом прочитал мальчик.

«Молодец!» — подумала Сурайе. Головы детей обратились к тетрадкам: все проверяли, так ли у них записано.

И тут зазвенел звонок на перемену. Сурайе с трудом сдержала вздох облегчения. Слышно было, как из других классов выбегали ученики. Она ждала, что и ее класс начнет шуметь, собираться. Нет — все сидели тихо, прислушиваясь к плачу Гульмох. Девочка сдерживалась, прижимала к глазам руку.

— Ну, ну, не плачь, малышка! Хватит, успокойся. Идем — ты расскажешь мне, что случилось... Идите, идите, ребята, мы с Гульмох сами разберемся во всем.

Дети неохотно стали выбираться из-за парт и по одному выходить из класса.

Смешанное ощущение досады и уважения к ним, к их чувствам и даже к их любопытству, на этот раз совершенно обоснованному, охватило Сурайе. — Ну, ну, правда, идите, — сказала она мягким ласковым голосом.

Когда дети ушли, Гульмох, вытирая слезы, и доверчиво поглядывая на учительницу, прерывисто заговорила:

— Мама, мамочка сильно больна... Я хотела отпроситься... Я еще дома сказала, что не пойду в школу... Не разрешила. Велела пойти.

— И давно больна?

— Мамочка, если ей становится плохо, старается скрыть. Она горячая и вся дрожит... Уже дня три...

— Что ж ты мне не сказала?

— Я... Я... — девочка опять заплакала. — Мама не велела: «не беспокой учительницу».

— Ну, ничего, ничего... Уроки кончились. Пойдем к тебе домой.

Когда они шли по улице, Гульмох стала рассказывать:

— К нам домой утром пришли три старухи... Они хотели проделать над мамой алас... Я слышала это слово, но не знаю, что это такое...

— Алас? — Сурайе усмехнулась. — Это церемония... Обряд. Ну, как бы тебе объяснить? Настоящие доктора, ученые люди, не станут делать такую... — она хотела сказать «глупость», но во-время одумалась. Девочка смотрела на нее с наивным выражением страха и ожидания.

— Это, понимаешь, не помогает. Это старые люди только воображают... Им кажется, что поможет...

Очень трудно объяснить нашим детям значение религиозных и тем более знахарских обрядов. Нужно ведь и объяснить и тут же опровергнуть. Нередко случается, что близкие: дедушка, бабушка, а иногда и отец и мать— вся семья относится к подобным обрядам и заклинаниям с полной серьёзностью и доверием. Мало того — с чувством преклонения и высочайшего уважения. Учитель, учительница должны разрушить в ребенке веру в религиозные и всякие другие нелепости. Но, разрушая эту веру, педагог должен каким-то образом сохранить, не затронуть в маленькой душе почтение к авторитету старших. Мучительно трудная задача!

— Расскажи-ка лучше, как это было.

— Я испугалась. Думала, что маму сожгут... Я закричала, прижалась к ней... — Девочка и сейчас прижалась к своей учительнице и, подняв личико, смотрела ей в глаза.

— Рассказывай, рассказывай! — Сурайе вела девочку по улице, обходя рытвины и камни, понимая, что та уже ничего не видит, поглощенная своими переживаниями.

— Мама сказала, чтобы я не боялась. Она обняла меня. На нее, и на меня тоже, набросили большой платок...

— Вы лежали?

— Нет, что вы! Маму подняли с постели. Она очень ослабла и опиралась на меня...

Сурайе подумала: «А вдруг заразное заболевание... Тиф или что-нибудь подобное!» Боязнь за судьбу собственных детей требовала, чтобы она отстранилась сейчас от девочки, которая, может быть, и сама уже разносчица инфекции. Но она не могла это сделать, ни как добрый

человек, ни как классный руководитель. Она еще нежнее прижала к себе девочку, услышала как бьется ее сердечко.

— Над нашими головами стали крутить зажженный факел, — продолжала свой рассказ Гульмох. — Огонь мелькал сквозь платок, а всё казалось таким темнокрасным и страшным. Мамочка была горячая, горячая... Потом мы ее уложили, и она послала меня в школу, а старухи остались дома. Они такие злые, и у всех у них длинные руки... Я не знаю, что они сделали с мамочкой, когда я ушла.

— Ну, вот, это и есть алас, — как можно спокойнее произнесла Сурайе. — Это делают с больными просто для того, чтобы у них было получше настроение. — Сурайе боялась запутаться в собственных объяснениях. Она думала: «Как это нелепо! Как долго еще будут терзать наш народ суеверия и дикие обычаи!»

— Ты видела, конечно, — продолжала Сурайе, — как старики, расстелив коврик, становятся на колени. Они это называют молитвой. Старики просто утешают себя... И старухи-соседки хотели утешить маму... Ты не бойся, ничего страшного в этом нет. А сейчас мы пойдем и позовем доктора. Доктор даст лекарства, твоя мама выздоровеет...

Гульмох, с отчаянием в голосе, крикнула:

— Доктора не пустят! Бабушка не пустит. Я ей говорила. Она не хочет...

— А с тобой вместе мы убедим... Бабушка с нами согласится.

Но уговорить бабушку было совсем не просто.

Старуха, бабушка Гульмох по отцу, крупная женщина с сильными мускулистыми руками и горящими глазами, была явно увлечена своей ролью спасительницы больной невестки. Она говорила мужским голосом и, видимо, давно уж привыкла отдавать приказания не только близким, но и посторонним.

Когда Сурайе с Гульмох вошли во двор, в комнате больной творилось что-то очень важное. Сурайе заметила мечущуюся за открытой дверью согбенную старческую фигуру. Она догадалась: шейх. Обычное спокойствие изменило ей, учительница кинулась вперед. Бабушка преградила дорогу и басом проговорила:

— Не торопитесь, уважаемая! Я, уважаемая, слава богу, у себя в доме!

Бабушка то и дело повторяла «уважаемая», и в ее устах это слово звучало противоположно своему смыслу. Видно было, что она не только не уважает—в грош не ставит пришедшую учительницу.

— Не лезьте, уважаемая, куда вас не просят!

— Неужели вы,—раскрасневшись от волнения и почему-то торопясь, говорила Сурайе.—Неужели вы доверяете этому обманщику, этому наркоману?!—Сурайе с нескрываемым отвращением бросила взгляд на шейха.—Кто же не знает, что это низкий, подлый человек!

— Нельзя, нельзя, уважаемая,—оттесняя учительницу и снисходительно глядя на нее сверху вниз, бубнила старуха.—Он мулла, он знает чильёсин[1], он ближе всех нас к святости...

Сурайе взяла себя в руки. Она сумела бы преодолеть сопротивление старухи, войти в комнату. Но возле нее всё время увивалась маленькая Гульмох. Учительница хотела как-нибудь отвлечь девочку, оградить ее и от ненужных впечатлений и от возможного заражения.

Заняв такое место, чтобы ей самой было видно происходящее в комнате и загородив ребенку дверь, она шептала девочке:

— Стой и молчи. Сейчас мы с тобой пойдем за доктором.

Между тем шейх, перестав читать коран, схватил какой-то кувшинчик и стал брызгать из него на платок, под которым лежала больная. При этом он приговаривал:

— Куф-суф, куф-суф, — что означало «сгинь», «рассыпься». Потом опять молился, опять бормотал заклинания и, наконец, воскликнул:—«Омен».

Сурайе решила, что обряд закончен, шейх сейчас уйдет. Но он не ушел. Присел на корточки и, дергаясь всем телом, долго судорожно кашлял.

Сплюнув на пол, старик провел руками по лицу и бороде; при этом он несчетное количество раз повторял: «Куф-суф! Куф-суф!»—и вдруг, прервав себя, совершенно спокойным будничным тоном сказал:

— Черную курицу приготовили?

— Вот она,—ответила старуха и, с неожиданной

---

[1] *Чильёсин*—сорокократное повторение молитвы ёсин из корана

для ее большого тела быстротой и ловкостью, выхватила откуда-то из-за двери связанную курицу, протянула шейху.

Шейх, церемонно двигаясь, подошел с курицей к порогу, достал из-за платка, которым был повязан его халат, нож и быстрым движением срезал с головки у курицы гребешок. Курица кудахтала, трепыхалась. Шейх крепко держал ее, нажимал на горло, чтобы выжать побольше крови. Обмакнув палец в красную жидкость, он начертил на двери крест.

И то ли потому, что отчаянно кудахтала курица, то ли потому, что под платком было душно, больная внезапно вскрикнула и, вытянувшись, окостенела.

Шейх бросил на нее встревоженный взгляд. Старуха посмотрела на него с удивлением. В кулаке она держала деньги. Шейх приниженно поклонился, взял, не глядя, деньги и засеменил к воротам.

Все растерялись. Даже властная старуха поняла, кажется, что с невесткой плохо. Сурайе решительно вошла в комнату, откинула с лица больной платок и, увидев, что та в тяжелом обмороке, потребовала:

— Воды! Скорее холодной воды!

Старуха засуетилась, подала пиалу с водой. Она теперь заглядывала в глаза Сурайе с надеждой и упованием. Сурайе брызнула в лицо женщины, и та вздохнула. Учительница подняла ее голову и дала попить.

— Шейх вас напугал?

Больная жалко улыбнулась.

У всех присутствующих вырвался вздох облегчения.

— Я сейчас схожу за доктором!—громко сказала Сурайе и покосилась на старуху.

Старуха кивнула. Она была так обескуражена, что соглашалась теперь на всё:

— Ваша воля, — проговорила она с неожиданным смирением.—Я согласна, уважаемая. Я сделала всё, что смогла.

— Прошу вас,—сказала перед уходом учительница,— не подпускайте ребенка к больной: она может заразиться.

Старуха развела руками, хотела, наверное, что-нибудь возразить, но потупилась под решительным и властным взглядом Сурайе.

— Я всё исполню, как вы говорите, уважаемая.

Сурайе вышла на улицу. Было жарко. Она чувствовала себя страшно утомленной. «К врачу? Но ее сейчас,

наверное, нет,—днем она, обычно, на обходе...» Медленно, задумавшись, шла Сурайе по переулку. Жар солнца и усталость сгибали ее. Ночь она почти не спала. А утром... Утром дети спрашивали, почему папа с ними не завтракает, где он? И почему тетя Зайнаб не вышла к ним? Что она могла ответить? Анвар ушел необычайно рано. Гостья, кажется, была дома. Но в комнате ее тихо: может быть спит. Не хотелось ее видеть, не хотелось обо всем этом думать. Детям она отвечала: «Не знаю, не знаю». Они поняли, что мать в плохом настроении и замолчали. Но себе ведь тоже надо бы ответить... Себе ведь не скажешь «не знаю, не знаю», этим не удовлетворишься.

В школе она видела Анвара только мельком. Зайнаб, кажется, не приходила. Обычно, она сидела в учительской или в комнате у делопроизводителя. Сегодня всё утро ее никто не видел. «Слава богу, хоть не спрашивали меня, что с вашей гостьей, почему не показывается. Ничего себе гостья!...» Понимая, что наблюдения ее совершенно недостаточны, чтобы обвинить в чем бы то ни было Анвара и эту приезжую девушку, Сурайе не в силах была отогнать мрачные мысли, освободиться от подозрительности. «Почему я не рассказала вчера мужу о посещении Мухтара?.. И сегодня тоже... Ведь могла же, могла в большую перемену вызвать его... Нет, не могла! Сразу бы утратила с таким трудом обретенное равновесие. Да, Мухтар кажется добился своего!»

Когда Сурайе вышла из переулка на кишлачную улицу, она заметила, что в чьем-то открытом дворе сидит тот самый старик-шейх. С отвращением отвернувшись, она ускорила шаг, но тут же услышала позади себя шаркающую походку.

— Госпожа, госпожа учительница,—громким шопотом окликнул ее старик.—Вы идете так быстро, мне трудно вас догнать.

Сурайе не оборачивалась, но все же пошла медленнее. Врожденная деликатность не позволяла ей резко оборвать старого человека. Он тяжело дышал за ее спиной, и всё повторял: «Госпожа учительница, дорогая госпожа!»

Это нелепое обращение и смешило и возмущало Сурайе. Полуобернувшись, она сказала:

— Если и есть в нашем кишлаке г о с п о д и н, так это вы.

— Ну, что случится, если вы позволите мне сказать

вам два-три слова? Не хотите, чтобы я называл вас госпожей, пожалуйста, только выслушайте меня.

Сурайе остановилась, но всем своим видом показала, что не имеет ни желания, ни времени разговаривать.

— Я знаю, вы повсюду сплетничаете, — продолжал хнычущим тоном шейх.—Ну, хорошо, хорошо, не сплетничаете, а ходите и говорите всюду обо мне, осуждаете меня... Зачем? Вы, молодая и сильная, мешаете мне зарабатывать несчастные гроши. Что плохого я сделал вам, чем заслужил вашу ненависть?

— Мой долг, — ответила учительница с достоинством,—просвещать людей и разоблачать ложь... Люди в вашем возрасте находят себе лучшее применение... Многие работают....

Шейх, казалось, не слушал ее. Поглядывая из-под косматых бровей жгущими ненавистью глазами, он продолжал твердить свое:

— Я никогда не портил вам жизнь, не вмешивался в ваши дела. Как никак, вы дочь правоверного мусульманина, и если я даже знаю о тебе и твоем муже,—он с вызовом посмотрел на Сурайе,—кое-что такое...

— Ты что—угрожаешь?—Сурайе презрительно взглянула на старика. — Да как ты смеешь клеветать на честных людей! Что, что ты можешь сказать плохого о нашей семье? С какой стати ты преследуешь меня по пятам?!

Шейх не то действительно испугался, не то притворился испуганным. Он спрятал голову в плечи и стал кланяться.

— Я... я...—повторял он униженно,—просто так... Думал вызвать вашу жалость к моим сединам и несчастному моему положению.

— Вы должны прекратить знахарскую практику,—серьезно сказала Сурайе.—Советский закон преследует...—Сурайе осеклась. Она заметила, что старик состроил ехиднейшую улыбочку. Сохраняя приниженную позу, он смотрел на нее с наглостью шантажиста, вымогателя...—Идите своей дорогой!—вспыхнув, проговорила Сурайе.—Что вам, наконец, от меня надо?—и, резко отвернувшись, Сурайе быстро пошла дальше.

Но старик не сразу отстал. Еще с минуту он трусил мелкой рысцой рядом с ней, как бы желая привлечь к этой сцене внимание прохожих. При этом он продолжал канючить:

— Преследуешь и мучишь стариков, не даешь жить честным людям, не даешь спокойно проглотить кусок заработанной молитвой лепешки. Лучше бы следила как следует за своим мужем, чтобы он не сбивал с пути молодых женщин, не бегал по всему кишлаку за чужой юбкой!...

— Что?! Что ты сказал?!—В глазах Сурайе помутилось. Она протянула руку, чтобы схватить шейха, но рука поймала воздух. Шейх удирал со всех ног. Ей показалось, что он хохочет.

Пройдя несколько шагов, Сурайе увидела у дувала большой запыленный валун и, держась рукой за дерево, опустилась на него.

Не успела она обдумать происшедшее и придти в себя, как ее окликнул женский голос:

— Сурайе-хон! Что это с вами?

Подняв глаза, учительница встретилась с внимательным взглядом по городскому одетой русской женщины средних лет.

— Вы, кажется, меня не узнаете?—говорившая улыбнулась.—А я как раз подумала, что вы, наверное...

Сурайе поспешно поднялась и, заставив себя улыбнуться, протянула руку:

— Здравствуйте, доктор. Простите мою рассеянность... Но вы, кажется, видели,—она показала на удаляющуюся фигуру старика,—этот деятель минут десять терзал меня, добивался... Но это потом. Я ищу вас. Мать моей ученицы Гульмох больна и, видимо, тяжело...

— Вот совпадение! А я, представьте, из вашего дома. Ваша родственница или гостья, не знаю...

— Зайнаб? Это инспектор облоно, она у нас остановилась... Но что с ней? Она заболела? Я ничего об этом не знала. Утром мы с ней не виделись. Я рано ушла из дома.

— Как вам сказать... Небольшой невроз сердца, переутомление, следы бессонницы... Я дала ей капель... Нет, нет, вы напрасно волнуетесь.—Она заметила, как побледнела Сурайе.—К вечеру ваша гостья придет в себя. Но вот вы... Зайдите как-нибудь в наш кабинет. Надо следить за своим здоровьем.

Сурайе был неприятен этот разговор. Она резко сменила тему.

— Вот, видите, переулок... За чинаром дом с толевой

крышей. Я сейчас оттуда. Боюсь, что у хозяйки этого дома тиф или еще что-нибудь подобное. Страшный жар. И лихорадит... Представьте, я застала у нее шейха! Бог знает, что у нас творится! До сих пор практикуют знахари, шейхи... До сих пор в ходу заклинания, «аласы»!

Собеседница Сурайе нетерпеливо дернула плечом.

— Уж не находите ли вы, что мне следует оставить лечение людей и заняться агитацией?... Вы правы, конечно,—продолжала она с возрастающей обидой,—санитарное просвещение поставлено у вас из рук вон плохо, но для этого у меня нет ни времени, ни помощников,—она со значением посмотрела в глаза Сурайе.—Не кажется ли вам, что агитацию мне пришлось бы начать прежде всего в домах нашей интеллигенции. Ну, вот, хотя бы в вашем доме...

«Что она хочет этим сказать?»—напряженно думала Сурайе, и краска залила ее щеки.

— Я не понимаю о чем вы, доктор? В нашем доме всегда поддерживается безукоризненная чистота. Шейхи к нам не ходят...

— Так-то, так,—это было сказано весьма многозначительно,—но... но я хотела бы обратить ваше внимание на известное нарушение приличий... Впрочем, меня это не касается,—с этими словами собеседница бросила на Сурайе сочувственный взгляд и стала прощаться.—Мне пора к больной... Да и вы тоже спешите... Всего вам доброго!

Сурайе не нашла в себе сил ответить. Какой-то комок перехватил ее дыхание. Она круто повернула и, все ускоряя шаг, направилась к дому.

Глава 4.

Ты в людях цени только нрав благородный,
Не льстись на красу, не пленяйся нарядом.
Лишь знаньем высоким достигни главенства
Над всеми, с тобою сидящими рядом.

Носир Хикроу.

Случалось ли Зайнаб когда-либо проводить бессонные ночи? Одной? Бессонные ночи, отданные не любимому, а мыслям?

Она даже не знала, что весенняя ночь—вовсе не ночь. До утра, до того часа, в который она привыкла пробуждаться, оставалось еще несколько часов, но в комнату

уже проник свет, можно было читать, и она уже несколько раз прочитала стихи. Прочитала, но, кажется, ничего не поняла... Вот почему-то в такую рань, ночью, щелкает бич пастуха и мычат коровы,—значит, уже утро? А в доме тишина. Через окно доносятся голоса женщин, идущих на работу—значит, утро? А ее маленькие золотые часики показывают пятнадцать минут шестого... До начала занятий еще далеко, ночь продолжается, бессонница, и полное одиночество, и необходимость думать...

Опять она берет плотный лист бумаги с каллиграфически выписанными строчками стихов Саади. Там почему-то имя Анвара... Значит, это он ее целовал? Зайнаб готова—уже в который раз—подвергнуть сомнению этот неоспоримый факт. Что за бешеный человек! Ведь невозможно поверить в то, что этим путем он продолжает насмешку, что и в этом его поступке участвует Сурайе.

... Ее глаза, ее щеки, кожа ее шеи всё еще чувствуют прикосновение горячих губ. И то продолжается сон, мерещится, что целовал ее Гаюр-заде, то она ясно видит обезумевшие глаза Анвара.

«Не тверди мне: «Анвар-джон, брось тропу любви!» Я не внемлю ничему, не вернусь назад. Пусть пустынею бреду, счастья не найду,—невозможен все равно для меня возврат»,—уже в который раз читала Зайнаб, и дрожь пробегала по всему ее телу.

Девушку так лихорадило, что она быстро разделась и юркнула под одеяло. Еще не согревшись как следует, она поймала себя на мысли, что и одеяло, и простыни, вся постель, вся комната, все вещи в ней—принадлежат Анвару. Она укрыта и согрета им, его трудами, его руками. Если раньше она пользовалась этим уютом и теплом на правах гостьи—теперь так нельзя...

«Нельзя, нельзя!—твердила она,—надо встать, надо немедленно уйти из этого дома!» Но она не поднималась, не уходила. Она... Да, надо признаться, были и такие мгновения, когда она позволяла себе размечтаться о том, что Анвар—ее муж. Страшно сказать—«невозможен все равно для него возврат». Если он сам говорит, что невозможен... Если любовь, возникшая в нем, единственная и неповторимая, а всё прежнее только ошибка... Почему же я должна быть сильнее его? Почему должна сопротивляться возникшей любви? Какое-то время она даже дремала, крепко обняв подушку; провалилась в небытие...

Солнечный луч ударил её по глазам. Она вскочила. Вся дрожа, торопливо оделась; быстрыми, энергичными движениями привела в порядок постель, вытащила из-под кровати свой чемодан. Но, прислушавшись, сообразила, что в доме еще спят. Взглянула на часы—всего лишь половина седьмого. И опять потекли мысли, мысли, мысли...

Поступок Анвара, сейчас, в ярком свете солнца, вызывал почти брезгливость. Что же это в самом деле такое?! За кого он ее принимает, этот человек, директор школы, деятельность которого она приехала контролировать?.. Да он ее совсем не уважает... «А кто и когда тебя уважал?—с необычайной для нее прямотой и резкостью обратилась к себе Зайнаб.—Никто и никогда!»

Машинистка в облоно, мать трех детей, пользуется всеобщим уважением. Да что там машинистка—уборщица, тетя Соня, пришедшая на смену тете Шуре... О ней говорят: «Вот какая умелая и старательная, у нее золотые руки!» Слова эти—не пустой комплимент. Они выражают искреннее уважение к пожилой женщине, умеющей даже на такой маленькой работе проявить себя. А Зайнаб? Что она успела сделать, чем сумела заслужить уважение?..

Ровно в семь часов утра Зайнаб услышала звуки государственного гимна—это дал знать о себе репродуктор на площадке перед школой. Началась передача последних известий. «Хлопкоробы Вахшской долины, Микоянабадского и Кировабадского районов решили закончить сев хлопчатника в течение десяти дней... На Кайрак-Кумстрое перекрыли Сыр-Дарью... Рабочие предприятий столицы республики обязуются досрочно выполнить шестую пятилетку...»—словно издалека доносилось до сознания Зайнаб.

Чутким ухом Зайнаб уловила шум в комнате хозяев. Кто-то ходил. Наверное, Сурайе. Она ни с кем не разговаривает. Неужели Анвар спит? Неужели мог после того вернуться и лечь рядом с женой, уснуть? Представляя себе, как тихими шагами движется по комнате Сурайе, как накрывает к завтраку стол, Зайнаб с удивлением обнаружила, что для нее жена Анвара остается такой же, как вчера и позавчера—милой, доброй и... и очень умной, недосягаемо умной. Нет к ней ни ревности, ни вражды.

Если ночью казалось, что Сурайе могла вместе с Анваром насмехаться над ней—сейчас было ясно: это всего лишь плод больного воображения...

«Значит, я не люблю Анвара,—с облегчением сказала себе Зайнаб.— Так зачем же думать о нем? Бедная, бедная Сурайе! А я-то считала, что ты истинно счастлива, что тебя не может коснуться ни обман, ни ревность, ни измена!» Если б Зайнаб была уверена в том, что Сурайе сейчас одна—кинулась бы к ней, обняла, расплакалась на ее груди... Неужели предала бы Анвара?.. Рассказала его жене о том, что произошло на рассвете?..

И опять новая волна разноречивых и порою совершенно нелепых мыслей. Время шло мучительно медленно. Зайнаб так и не решилась выйти из комнаты, встретиться глазами с хозяйкой и с детьми. Она слышала, как звенели ложечки в пиалах, слышала веселый щебет Мухаббат и Ганиджона, намеренно тихий разговор Сурайе. «Почему же меня не зовут? И где Анвар—ушел или продолжает спать?» Комнатка, которая еще так недавно казалась ей воплощением уюта и чистоты, стала тюремной камерой. Как, ну как можно объяснить людям, и прежде всего Сурайе, что она, Зайнаб, ни в чем не виновата?!

Сурайе, наконец, ушла и увела с собой Ганиджона. Зайнаб притаилась—ведь они должны пройти мимо окна ее комнаты. Ждала минуту, другую, третью... Как же они могли миновать?.. Пошли в обход? Только, чтобы не видеть ее?.. Тихо скрипнула дверь, вошла Мухаббат, обняла, поцеловала.

— Папа ушел сегодня рано-рано... Мама думала, что вы спите... Велела нам с Ганиджоном вести себя тише, потому что вы поздно работали. Я потому и не постучала, тетя Зайнаб,—хотела одним глазком взглянуть...

Заметив, что девочка смотрит на лист бумаги со стихами Анвара, Зайнаб вспыхнула и торопливо прикрыла стихи книгой. Мухаббат смутилась и покраснела.

— Я не хотела читать и не читала... Только у папы тоже есть такая хорошая бумага. Он мне почему-то не дает... Знаете, тетя Зайнаб, я написала на папин день рождения стихи. Можно, я вам принесу, почитаю?

Она убежала, а Зайнаб торопливо вытянула из-под книги листок и сунула его в сумочку. Потом рассеянно слушала детские стихи. Потом так задумалась, что совсем уже не слышала ни одного слова Мухаббат. Вдруг девочка воскликнула:

— Тетя Зайнаб, что с вами? У вас слезы. И вы такая

бледная... Тетя Зайнаб, вы, как и моя мама, сегодня может быть тоже не спали всю ночь?... Мама нам объяснила, что весной взрослые часто не спят ночами... Тетя Зайнаб, — девочка взяла ее руку в свою и погладила,— вы может быть больны? Ложитесь в постель, а я буду за вами ухаживать. Ладно?

Так хотелось ласки и участья, так растрогала детская доверчивость и проникновенность тона, что Зайнаб размякла, стала отвечать на поцелуи ребенка...

И, как бы участвуя в игре, придуманной девочкой, она согласилась лечь в постель. А когда легла — позволила себя укрыть...

...Она проснулась от того, что кто-то тронул запястье ее руки. Открыв глаза, увидела: высокая незнакомая блондинка лет тридцати, в белом халате, неприязненно разглядывает ее.

Зайнаб выдернула руку.

— Пульс нормальный, — произнесла женщина. — На что вы жалуетесь? Я—врач. Девочка позвала меня, сказав, что вы без памяти... Вы просто спали?..

Мухаббат, потупившись, стояла у двери. Зайнаб не хотела обижать свою маленькую и единственную подругу.

— Спасибо, доктор, — преодолевая внезапно вспыхнувшую враждебность, сказала она. — Я, правда, не посылала к вам Мухаббат, но вы сами понимаете — если человек теряет сознание, вряд ли он может позвать врача или дать какие-либо распоряжения... Я немного переутомилась. Всю ночь работала...

Женщина-врач сняла халат и стала складывать его в чемоданчик; не глядя на Зайнаб, сказала:

— Удивительнее всего, что секретарь сельсовета звонил ко мне за час до того, как пришла эта девочка. Он тоже просил меня заглянуть в этот дом... Вы с ним знакомы?

Зайнаб смешалась.

— Как вам сказать?.. И да, и нет. Все, кто приезжают... Я обращалась к нему с просьбой определить меня на квартиру, и он устроил меня в этот дом...

— Да, странно... Знаете, что он мне сказал? Девочка, выйди, — обратилась блондинка к Мухаббат и, когда девочка скрылась за дверью, испытующе заглянула Зайнаб в глаза, — он сказал мне буквально следующее:

«Два человека в доме директора школы провели сегодня такую бурную ночь, что кому-нибудь из них неминуемо понадобится ваша помощь». Да, да, представьте, такую фразу по телефону! Я, конечно, бросила трубку...

Перед уходом женщина-врач сказала с усмешкой:

— Вы, очевидно, плохо переносите высокогорный климат. Я оставлю вам лекарство: три раза в день по двадцать капель. Денек полежите и уезжайте отсюда. Да побыстрее — атмосферное давление может сыграть с вами плохую шутку.

Она ушла, холодно попрощавшись. А несколько минут спустя, Мухаббат отправилась в школу. «Я скажу маме, что вам нездоровится», — крикнула она в окошко.

«Бежать, бежать, бежать! — пронеслось в голове Зайнаб. — Бежать от скандала, от позора, от грязных сплетен!» Судорожными, неверными движениями она стала собирать и запихивать в чемодан белье, всю свою косметику, тетради с записями, туфли—всё, что попадало под руку. Ей наплевали в лицо. Ее подвергли осмеянию. Кто эта женщина? Как она посмела? Врач? Ну и что же?.. У нее высшее образование, но разве это дает ей право... Через год и у меня будет высшее образование!.. Ах, как ты глупа, Зайнаб, ну при чем тут образование?.. В голове был полный сумбур, и со стороны можно было бы принять Зайнаб за лишенную рассудка.

Когда, наконец, чемодан был закрыт и Зайнаб, кое-как причесавшись, уже намеревалась открыть дверь и уйти, в коридоре раздались шаги. Девушка окаменела. Она поняла: это Анвар.

Глава 5.

Одиночество мое Как уйти мне от тоски
Без тебя моя душа бьется, сжатая в тиски.
Что ты сделала со мной? Одержим я! Исступлен
Даже днем я вижу ночь. Впереди меня—ни эги.

Шамсиддин Мухаммад Хафиз.

Вечером того же дня, когда уже выяснилось, что в школе сегодня зарплаты не будет, старая Шарофатхола, уборщица, рассказывала своей соседке:

— Что сегодня за день, Зумрат-биби! Я совсем потеряла голову! Можете ли вы себе представить: в семье

нашего директора Анвар-джона всё полетело вверх тормашками. Я эту семью считала спокойной и благополучной и никогда, кажется, не замечала, чтобы там был непорядок. Помните, я вам рассказывала, что приехала к нам инспекторша из облоно? Молодая и совсем не похожая на других, которые когда-либо приезжали. Она в чулочках, и в туфельках на высоких каблуках и красит губы, а когда пройдет мимо — такой сладкий запах, как в городской аптеке. Помяните мое слово: всё началось с ее приезда. Наш директор живет при школе, в казенной квартире, вы ведь знаете, я у них иногда убирала и, если Сурайе-хон позовет — немножко стираю... Уж комукому, мне-то их жизнь известна.

Прихожу я в школу чуть свет—убираю, мою, всё как полагается, никогда никто мне в это время не мешает. Сегодня — только я успела помыть прихожую — идет Анвар-джон.

Думаю: «И куда тебя несет в такую рань? Боишься, небось, что инспекторша придерется к чистоте?» Я ему рассказываю, как есть, что завхоз жалеет соду, экономит. Рассказываю, а директор не слушает и прямо по мокрому полу идет в кабинет. Я за ним, — там же еще не убрано! Он мне машет рукой: «Идите, идите. Не мешайте, у меня дела!» Ну что ж—пусть его. Но, знаете, Зумрат-биби, таким нашего директора я никогда не видела. Точь-в-точь, как шейх, когда накурится гашиша: глаза ничего не понимают и смотрят не на тебя, а в сторону, улыбается и, того и гляди, начнет танцевать. Конечно, меня это не касается, у меня работы полно, надо еще и классы прибрать, и коридор помыть, надо в учительской порядок навести. Анвар-джон прошел к себе в кабинет, открыл окно; я, когда ходила к арыку за водой, заметила — сидит за столом, лохматит пальцами прическу и все пишет, пишет... Потом ходил по залу, туда и обратно, туда и обратно и что-то бормотал. Думаю: может к Первому мая стихи сочиняет? Наш племянник Бахриддин, если сочиняет стихи — тоже вот так по двору ходит туда и сюда, ерошит волосы и бормочет слова.

Анвар-джон так утром и не вернулся домой. Учителя собрались. Я нарочно ждала — придет сегодня инспекторша или нет. Не пришла. Напрасно Анвар-джон беспокоился из-за чистоты... Ну, да ведь разве я его подведу! Понимаю—если начальство из области, надо держать

школу, как стеклышко. Да уж какое начальство эта девчонка! Одно только название—инспектор. Будто, никто и не понимает, что приехала она сюда не по школьным делам, а к секретарю сельсовета. Каждый вечер к нему бегает. Там, знаете, напротив школы живет Хосият, жена сапожника, моя старая приятельница. Сколько раз она видела, как эта самая инспекторша, эта расфуфыренная девчонка, бежит вечером в сельсовет и—юрк в калиточку к Мухтару. А возвращается, когда уже темно. Думает, никто не видит...

...Сегодня у нас должны были выдавать зарплату. А в эти дни я после уборки уж домой не возвращаюсь — сижу и жду, пока директор съездит в район за деньгами. Чтобы не терять даром время, я работаю в дни получек у Сурайе-хон, ну, значит, в доме нашего директора, знаете ее? Сегодня тоже жду, когда придет Сурайе, скажет—идите, Шарофат-джон, там вам приготовлено мыло, белье, объяснит—нужно сегодня мыть полы или только стиркой заняться... Приходит, значит, Сурайе со своим мальчиком... Верите ли, лица на ней нет. Идет мимо меня — еле-еле кивнула. Как тут спрашивать? Я молчу: не ладно у них в доме. Разве так бывает, чтобы муж и жена за одну ночь стали вроде угорелых... А мальчик, как всегда, веселенький... Я тут еще одно приметила. Обычно, Сурайе-хон, если приходит в школу позже директора, обязательно зайдет к нему в кабинет. Сегодня — прямо в класс. Накинулась на дежурную девочку: «Почему доска плохо вытерта? Почему не проверяет ногти у мальчиков, а только у девочек?» Как не понять — пришла наша Сурайе в скверном настроении.

Ну, не зовет — не напрашиваться же мне! А домой идти в день получки тоже не дело. Ладно, думаю, мне еще лучше — денек отдохну. Пошла к Хосият, к жене сапожника, их дом напротив школы. Хосият как раз занялась во дворе, а я села на камень у растворенной калитки, можно и с Хосият разговаривать и за школой следить — вдруг после урока Сурайе-хон начнет меня искать. Мы, значит, перебрасываемся словами с Хосият. Первая перемена. Не идет Сурайе. Скоро вторая перемена. Смотрю — выбегает из дома директора их дочка Мухаббат. Увидела меня: «Тетушка Шарофат, что это вы сегодня к нам не пришли?» Говорю — мама не позвала. А где же, спрашиваю, ваша гостья? «Ах, — отвечает Му-

хаббат, — я как раз бегу к доктору. Заболела тетя Зайнаб». Хотела я ее расспросить, но у девочки только пятки засверкали.

Скоро, смотрю, возвращается вместе с Мариам Сергеевной — врачихой. Тоже из этих, которые с секретарем сельсовета, с Мухтаром... Он ведь у нас славится: то одна, то другая к нему ходит. Ну, вот с приездом инспекторши врачиха и получила отставку...

Ах, Зумрат-биби, какие ныне пошли времена! В кого только верить, чье счастье считать крепким? Разве я не понимаю — в доме директора большие неприятности. Почему сегодня мы все сидим без денег? Виданное ли дело — забыл! Да как это может быть, чтобы наш директор, такой внимательный и добрый человек, как Анвар-джон, мог забыть, что и учителя, и все служащие, и я ждем этого дня две недели!.. А тем более праздник на носу...

Да, так вот: только эта докторша ушла и Мухаббат побежала в школу, смотрю — прошел автобус в район. Да что ж это такое, думаю, как это случилось, что наш Анвар-джон не поехал за деньгами? Выходит, зря я здесь сижу, вместо того, чтобы идти домой; дома у меня хлопот по горло. Стало быть, и учительница рисования, у которой нет сегодня уроков, тоже напрасно пришла — нечего ей ждать. Я человек маленький, но не утерпела. Бегу в школу, к делопроизводительнице. Спрашиваю: как это случилось, что Анвар-джон не поехал на автобусе? Она тоже удивилась, пошла в кабинет. Он выскочил, как ошпаренный. Я все-таки спросила: «Анвар-джон, простите меня, старуху, нужно мне ждать зарплаты или сегодня не будет?» «Что, что?» — это он мне в ответ и как будто меня не видит. — «Да, вот, тетушка Шарофат, говорят, я на автобус опоздал... Сейчас постараюсь найти какую-нибудь машину...» и тут же пошел домой. Я за ним... А что? Мне в школе делать нечего, вот и хожу, как неприкаянная...

Только он в дом зашел, а тут и Сурайе-хон... Идет, торопится, тяжело дышит. Э, думаю, я ее такой за восемь лет ни разу не видела! Как это я прозевала, что она куда-то из школы уходила?... Одно скажу вам, уважаемая Зумрат-биби, если молодая женщина, да такая красавица, как наша Сурайе-хон, теряет свою достойную походку и оглядывается по сторонам, как затравленная лиси-

да—значит, дело плохо... Стало мне за нее обидно—сердце сжалось, глядя на такую картину... Я стою неподалеку от их дверей — хочу, чтобы заметила меня Сурайе. Она и вправду заметила, улыбнулась. Улыбка как будто чужая. «Вы меня ждете?» А я отвечаю, что Анвар-джон только что домой прошел, что он на автобус опоздал и что я зарплаты жду. Она как будто и не слышала: «Да, да!»—и мимо меня, в дом. Вот и дождалась, вот и поговорила!...

Стою, соображаю, куда мне идти, что делать. Тут в доме крик, голос как будто Сурайе-хон, но только даже и не верится, чтобы такая ласковая и спокойная могла кричать, как на базаре. Анвар-джон что-то отвечает—бу-бу-бу, бу-бу-бу,—ни слова не поймешь,—уговаривал он ее или как. Вдруг выходит эта самая, инспекторша! Чемодан в руке. Глаза бегают. И даже губки не подкрашены. Чемодан, видно, тяжелый, еле-еле она его тащит. Прошла мимо меня, не заметила, будто я камень, не человек. За ней Анвар-джон выскакивает из дома: «Зайнаб-хон, Зайнаб-хон, куда вы?! Останьтесь, я вам все объясню»... Что уж он хотел сказать, откуда я знаю, но только инспекторша поворачивает свою змеиную головку и так губки складывает, будто плюнуть хочет: «Оставьте меня в покое. Желаю вам всего лучшего. Я уезжаю». Тут личико у нее всё собралось, как у плаксы: «Вы низкий, вы низкий, нехороший!...» Повернулась и бежать, даже «до свиданья» не сказала. Да куда ей с чемоданом! Он ее по ногам, по ногам...

Наш Анвар-джон,—вы б только видели,—будто на него кирпич упал. Повернулся и пошел в дом. Такой у него был несчастный вид, такой грустный, такой растерянный... Больше я ругани не слышала, вскоре он опять вышел, с портфелем, в котором привозит деньги из города... Я ему вслед: «Так что же, Анвар-джон, ждать нам сегодня зарплаты?» Он обернулся, посмотрел на меня и махнул рукой: «Постараюсь, тетушка Шарофат. Скажите товарищам—отсюда на попутной, обратно такси возьму, пусть не расходятся».

Да... Вот и не расходились до самого вечера, а Анвар-джон не приехал. Сурайе из дому так и не показалась. Наш завуч, на что спокойный человек, всё вздыхал и говорил: «Ну и дела, ну и дела!..»

Глава 6.

И малого врага ничтожным не считай,
Чужой он или свой—разит из-за угла.
Как солнце ясно то, что нам давно
Большая мудрость предков изрекла:
„Не сделает того и длинное копье,
Что сделает порой короткая игла".

Носир Бухорои.

Оскорбленная и оплеванная идет Зайнаб по улице кишлака. В ушах ее еще звучит голос Анвара, голос полный тревоги и смятения. Она ответила грубо—не могла иначе. Он отстал, вернулся. И вот она идет. Чемодан ударяет по ногам. Тяжелый. Никогда она не носила чемоданы, не привыкла к тяжести... Она перехватывает чемодан левой рукой, а несколько секунд спустя—опять правой. Пот катится со лба, кружится голова, мешает сумочка, болтается на руке... Господи, да что же это такое! Неужели некого нанять? Хоть бы подвернулся какой-нибудь мальчишка...

Она ставит на пыльную обочину дороги свой новенький чемодан с блестящими металлическими уголками, садится на него... Забавная фигурка, маленькая и пестрая, как птичка колибри.

...В кишлаке она сама по себе уже зрелище. Впрочем, за те несколько дней, которые она живет в Лолазоре, на нее уже нагляделись. Проходят молодые ребята в засаленных спецовках—это рабочие МТС. Им невдомек, что нужно помочь этой птичке. Они не смеются над ней, не показывают на нее пальцами. Но искоса брошенные на нее взгляды полны удивления. Зайнаб смущена и раздавлена. Через дувалы на нее поглядывают женщины. Наверное, они догадываются, что сейчас она хочет уехать, как можно скорее уехать. Уж не знают ли они и того, как сегодня ранним утром Анвар подходил к ее окошку?..

Зайнаб опять хватается за ручку чемодана—не бросить же его здесь, среди дороги... И тут чья-то ладонь мягко ложится на ее руку.

— Позвольте, я вам помогу...—какой-то незнакомец с уверенной настойчивостью берет ее чемодан и легко шагает рядом.

— Что вы!—в восклицании Зайнаб слышны и смущение, и протест, и в то же время благодарность.

— Пожалуйста, не бойтесь, не убегу...

Он молод, этот неожиданный помощник. На нем приличный костюм. Усики вроде тех, что у Мухтара... К Зайнаб, помимо воли, возвращается утраченная было кокетливость, возникает чувство неловкости: забыла покрасить губы.

Молодой человек продолжает легким и веселым тоном:

— Вы только что из города? Куда вы идете? К кому вы приехали?... Мне кажется, мы с вами встречались. Разумеется, часто бываете в театре?

Зайнаб молчит. Однако, в выражении ее лица нет отчужденности. Она силится понять, что происходит. Кажется, всё так просто и естественно. Студенты их института тоже могли бы заговорить с незнакомой девушкой.

Они останавливаются на перекрестке. Молодой человек опускает чемодан на землю.

— Теперь нам направо или налево?—спрашивает он, склонившись чуть ли не к самому лицу Зайнаб.

«Нам?... Он говорит—нам... Да как он смеет!—Кровь ударила ей в голову,—еще один мужчина на ее пути. Охотник».

Сделав над собой страшное усилие, Зайнаб отстраняется и отвечает с холодной вежливостью:

— Очень признательна... Я, действительно, немного устала и вы мне помогли. Но дальше я пойду сама.

— Как? Даже не хотите со мной познакомиться?! Я тоже, как и вы, приезжий. В командировке... Я—актер и режиссер,—последние слова молодой человек произносит доверительным полушопотом:—Меня пригласили сюда подготовить в здешнем клубе спектакль к Первому мая. И вот такой приятный случай—встречаю прелестную девушку, землячку...

Зайнаб уже не слушает его. Она заметила на другой стороне улицы молодую женщину в широком и ярком национальном платье. Толстые косы уложены короной вокруг тюбетейки. Гордо вскинута голова. Взгляд спокойный и полный достоинства.

— Посмотрите,—Зайнаб еле скрывает накипающее бешенство. — Посмотрите, посмотрите, товарищ актер. Вот идет молодая женщина. Она работает здесь, в Лолазоре, библиотекаршей. Можете вы сейчас подойти к ней так же, как подошли ко мне?

Актер пожимает плечами.

— Гм... Это... это забавно,—говорит он неуверенно.— Но ведь у нее нет чемодана... Ей не нужна моя помощь...

— Да, да, да, да!—кричит Зайнаб и стучит кулачком по чемодану.—Нельзя приставать к женщине на улице. За кого, за кого, за кого вы меня принимаете?.. Уйдите! Как вы мне все надоели...

Молодой человек отступает на шаг. В глазах его—растерянность. Не говоря ни слова, он поворачивается и через несколько секунд его уже не видно, он скрылся за поворотом. Зайнаб опять одна. В ней еще не улеглась ярость. Если бы ее спросили, почему она чуть не с кулаками кинулась на человека, который ей помог... конечно же, она и сама ничего не понимала.

Не могла же она в самом деле знать, что несколько дней, проведенных здесь, и переживания, пришедшиеся на ее долю, разрушили привычное бездумье и легкость. И уж, конечно, она не догадалась, что в ней нарастает душевный кризис.

...Да, удивительные перемены могут происходить с человеком! Зайнаб, вооруженная решимостью и злостью, подхватывает чемодан и твердым шагом, не оглядываясь, идет по направлению к сельсовету. Пусть-ка Мухтар поможет ей найти машину и уехать! Никого ей не надо. И Мухтара тоже не надо. А в сельсовет необходимо зайти и отметить командировочное удостоверение.

...Войдя в помещение, где толпится довольно много посетителей, Зайнаб решительно проталкивается вперед, к столу, над которым висит табличка—«Секретарь Лазорского сельсовета». Высокий старик-колхозник смотрит на нее неодобрительно, но все же уступает дорогу. У стола стоит старуха вся в белом и горячо что-то говорит. Зайнаб слышит отдельные слова: «Рабочий стаж... Перерасчет... Пенсия...» Зайнаб с грохотом ставит чемодан у стола. Дрожащими от физического перенапряжения пальцами, неловко роется в сумочке и, наконец, находит и протягивает свое командировочное удостоверение.

По правде говоря, к ее решимости примешивается и страх. Сейчас она встретится глазами с Мухтаром. Удастся ли ей выдержать взгляд?.. И каким он будет, этот взгляд человека, который считает ее виновной в измене?

Но секретарь сельсовета не замечает протянутой руки. Он углублен в бумаги, а старая женщина всё говорит

Зайнаб опускает руку. Она вдруг понимает, что так, наверное, нельзя. Мухтар, конечно, должен закончить разговор с посетительницей.

Слегка повернув голову, Мухтар, наконец, разрешает себе заметить Зайнаб.

— О, товарищ инспектор!—говорит он тихим и усталым голосом. Он ничем, решительно ничем не обнаруживает своего близкого знакомства с ней. Он вежлив, и только. Должностное лицо во время исполнения служебных обязанностей. — Вам нужно отметить командировку? Я скоро закончу и займусь вами. Присядьте, пожалуйста.—С этими словами он показывает на скамью, стоящую у стены.

И ей ничего не остается — только отойти и сесть. Так она и делает. А Мухтар уже не смотрит на нее. Долго, обстоятельно разъясняет он старухе в белом, какой порядок перерасчета пенсии. Он говорит:

— Из этих бумаг видно, что ваш покойный муж Баймурадов Файзулло Давлятович, иначе говоря сын Давлята, проработал на складе Заготзерно в должности сторожа двенадцать лет. Так?

Старуха кивает головой, и тогда Мухтар продолжает:

— А вот эта бумага свидетельствует о том, что до службы в Заготзерно ваш муж работал, в качестве подсобного рабочего, на мельнице... Но тут не хватает сведений о том, где он служил в течение трех лет в промежутке между работой в Заготзерно и на мельнице.

Старуха не понимает, чего от нее хотят, волнуется, кричит, оборачивается то к одному, то к другому. Видно, что секретарь уже давно мучится с ней, но ни одним словом, ни одним жестом не обнаруживает он своего раздражения или досады. Зайнаб впервые видит Мухтара на работе. Как мало он сейчас похож на легко вспыхивающего, резкого и порывистого мужчину, которого она до сих пор знала. Если в первую минуту Зайнаб казалось, что он отнесся к ней пренебрежительно, то сейчас она видит: иначе поступить было невозможно. Сколько такта и ума в его поведении! Сколько нужно терпения, чтобы слово за словом разъяснить малограмотному человеку сложную систему назначения пенсий и определения ее размеров!

— Вы не очень торопитесь? — обращается Мухтар к инспектору обло но. На этот раз он улыбается, но улыбка

его сдержанна.—Мы можем попросить товарищей пропустить гостя вне очереди!

— Нет, нет, что вы!—искренне восклицает Зайнаб.— Я подожду.

Ей теперь хочется посидеть здесь дольше, понаблюдать за Мухтаром со стороны, увидеть его другими глазами. Ей даже пришла на ум неожиданная мысль: «Я восторгалась директором школы, когда он вел урок. Но ведь и в том, как Мухтар умеет разговаривать с людьми, как он внимателен к ним, тоже есть искусство и талант»... Восторженность, свойственная ее характеру, легко приводила ее в состояние умиления. И это ведь был Мухтар, ее Мухтар! Она замечает, как он осунулся. Синеватые круги под глазами вызывают в ней жалость. А то, как он сутулится, показывает ей меру усталости этого человека. Вот странно, вчера он был совсем другим. Жестокий ревнивец и грубиян... «Нет, нет, ты не права,—говорит себе Зайнаб.—И вчера он тоже показал глубину своего чувства. Стоило мне уйти, и он тут же включил магнитофон с записью моего голоса... А потом прятался за деревом, ведь он же не кинулся на нас с ножом. Он следил за нами и страдал, но при этом вел себя с достоинством истинно воспитанного человека».

Сейчас она готова истолковать каждый его шаг, даже каждую грубость, как проявление любви к ней. Она опять упрекает себя в том, что осмелилась сравнивать его с другими... И его усы—теперь она это ясно видит—ничуть не похожи на усики пошляка-актера...

— Ну, вот, я, наконец, и освободился немного. Прошу вас, товарищ инспектор,—Мухтар поднимается и кланяется ей.—Давайте вашу командировочку... Но ведь у вас еще не закончился срок, почему же вы решили нас покинуть? Разве школа уже не нуждается в ваших советах? Или вам не понравилось в нашем захолустье?

Издевательскую иронию, звучащую в словах Мухтара, Зайнаб воспринимает сейчас, как затаенную обиду против нее. Она ищет его взгляда, она хочет передать ему всю горечь, накопившуюся в сердце. Молит о прощении и оправдывается. Заверяет его в своей невинности... Но глаза секретаря сельсовета остаются холодно вежливыми и лишь изредка в них мелькает усталая покорность.

— Как же вы думаете добираться до города? Автобус уже ушел, такси редко заходят к нам,—он дышит на

круглую печать, с силой прижимает ее к командировочному удостоверению Зайнаб.—На всякий случай, я отметил ваш документ завтрашним числом... Но мы, конечно, постараемся отправить вас с попутной машиной...

Эти слова вызывают в ней надежду: «Он не хочет, чтобы я сегодня уезжала! Он любит, любит, он только вынужден скрывать свои чувства здесь, при посторонних!» И она так радостно улыбается, что даже мрачный старик, который смотрел на нее раньше с укором, тоже распускает на лице улыбку. Один лишь Мухтар ничего на замечает.

— ...но только на всякий случай.—Ей кажется в этот момент, что во взгляде его мелькает нехороший, злобный огонек.—Только что мне звонил из школы товарищ Салимов... Он по каким-то причинам опоздал, как и вы, на автобус, а ему непременно надо успеть в банк... Всё, что касается школы, сельсовет принимает очень близко к сердцу.

Мухтар тут же принимается крутить ручку телефона:—Заготхлопок?... Товарищ Абдуразаков?... Здравствуйте. С вами говорит Махсумов, из сельсовета... Очень большая просьба... Да, да, вы угадали... Директору школы и товарищу, командированному к нам из облоно, необходимо срочно попасть в город...

Зайнаб не слышит конца фразы. Бросив случайный взгляд в окно, она видит, что через площадь к сельсовету быстро шагает Анвар.

— Что с вами? Вы так побледнели!—произносит Мухтар.—Вот, пожалуйста, крепкий чай...

— Простите, но я... я лучше пройду на воздух...

Ни на кого не глядя и слегка пошатываясь, Зайнаб выходит в прихожую, а оттуда ныряет направо, во двор...

Глава 7.

Плечом к плечу с негодными не стой:
Сам загрязнишься, хоть и чист душой.

Абульмаджд Санои.

Перед самым концом рабочего дня, когда Мухтар рассовывал папки с бумагами по шкафам, в сельсовет зашла Мариам Сергеевна, кишлачный врач. Брезгливо вытерев стул носовым платочком, она села, открыла свой чемоданчик, стала перебирать рецепты, пакетики с лекарствами. Мухтар отнесся к ее приходу, как к чему-то совершенно

обычному и скорее неприятному, чем приятному. Заперев оба шкафа, Мухтар повернулся в сторону поздней посетительницы и принялся довольно бесцеремонно ее разглядывать. Она не торопилась с объяснением и всё еще продолжала копаться в чемоданчике. Видно, каждый ждал, что скажет другой.

Подняв лицо, Мариам Сергеевна поправила прическу. Это была крупная дородная женщина, хорошо владеющая собой и знающая себе цену. Ее нельзя было назвать красавицей, однако, правильные черты лица, большие серые глаза и крупный волевой рот обращали на себя внимание. Портили ее веснушки и красноватый загар, свойственный блондинкам. Казалось, что лицо ее слегка обожжено. Лет ей было не больше тридцати—примерно столько же, сколько и Мухтару, но рядом с ней он выглядел как юноша; даже сегодня, когда на его лице так сильно отразились и бессонная ночь, и пережитые волнения и неумеренное потребление коньяка.

— Я зашла к вам, как врач, всего лишь, как врач,— произнесла, наконец, Мариам Сергеевна.—Сегодня утром вы мне звонили... И,—тут она деланно рассмеялась,—были немного не в себе...

Мухтар досадливо поморщился. Она продолжала серьезно:

— Я не стану вас ни в чем попрекать и не стану напоминать о ваших клятвах... Я говорю о тех клятвах, которые касаются состояния вашего здоровья. Все остальные клятвы мы ведь решили с вами зачеркнуть...—Она бросила на Мухтара быстрый многозначительный взгляд.—Не так ли?

Мухтар не отвечал.

— Вам не интересно со мной говорить?—с плохо скрываемым раздражением продолжала Мариам Сергеевна.—Тогда прошу: во-первых, не будить меня своими звонками. Клиническая картина алкоголизма, как раз такова, что подверженные этому недугу дурно спят, их беспокоят кошмары, они не находят себе места, у них возникает маниакально-депрессивное состояние и нередко в больном сочетаются мания величия с манией преследования.

— Мания преследования,—не выдержал, наконец, Мухтар,—у вас! Вы преследуете меня своими нотациями и... будьте любезны...

— Я любезна, даже слишком любезна. На что вы намекали сегодня утром, когда в горячечном бреду говорили о каких-то больных в доме директора школы? Неужели вы думаете, что вам удалось скрыть,—она бросила выразительный взгляд на чемодан Зайнаб, всё еще стоящий у письменного стола.—Помилуйте, ведь вы не ребенок. Вы хитрый, очень хитрый человек. Так почему же вы воображаете, что, вызвав в Лолазор свою любовницу и устроив ее в доме ни в чем неповинного и милейшего директора школы, вы тем самым прячете концы в воду?—Резко изменив тон, она заговорила быстро и нервно:—Кто эта девчонка? Ваша помощница? Какая-нибудь дрянь, через которую вы устраиваете свои делишки в городе или только новая жертва...

— Ну, вот...—протянул Мухтар,—опять упреки. Не вы ли, дорогая и очаровательная Мариам Сергеевна, говорили, что вам не нравится ни мой характер, ни мой образ жизни... Так в чем же дело?

— Кто эта девчонка? Я хочу знать, кто эта девчонка?—с болью воскликнула Мариам Сергеевна, поднимаясь со стула. Лицо ее еще больше покраснело, губы дрожали.

Мухтар взмахнул руками, казалось, он сейчас кинется на нее, но, овладев собой, он заговорил почти спокойно, чеканя каждое слово:

— Вы спрашиваете—кто эта девушка, чемодан которой стоит у меня в кабинете. Ну, хорошо, знайте! Эта девушка, а еще точнее—молодая женщина, о которой вам уже известно, что она посещала здесь мой дом... Так вот, она—Зайнаб Кабирова...—в этом месте Мухтар немного смешался, но, махнув рукой, продолжал с еще большей энергией:—она меня любит. Любит искренне и давно. И я... да, я ее тоже люблю. Люблю, и вам-то какое дело!

Он сам был удивлен тем, что сию минуту сказал, но ему надо было во что бы то ни стало изменить тему разговора. Собеседница стала намекать на его грязные делишки спекулятивного свойства. Назвала Зайнаб сообщницей... Он вспомнил и стал в душе ругать себя последними словами: один раз, в пылу пьяной откровенности, поведал Мариам Сергеевне о дурацкой истории с воздушными шариками.

На счастье Мухтара пришел сторож. Услышав его ша-

ги в прихожей, Мариам Сергеевна осмотрелась, опять поправила прическу, заперла свой чемоданчик и сказала:

— Вы грязный, дурной человек... И... и в эту вашу настоящую любовь я не верю. Да, не верю! Прощайте же и не смейте мне больше никогда звонить!—с этими словами она тяжелым шагом направилась к выходу.

Вошел сторож. Он поклонился, прижал руку к груди и сразу же завел разговор о ревматизме, который его давно мучит.

— Выйдем, дедушка, на улицу,—сказала Мариам Сергеевна.—Тут тяжелая атмосфера.

Глава 8.

Петля изгибается, вьется, подобно прекрасным кудрям.
Но помни: крепка ль ее хватка,—ты скоро изведаешь сам.

Абдульхасан Фаррухи.

Он был, как выжатый лимон, как лопнувший мяч.

Дорого ему стоил этот разговор. Способность казаться спокойным, сдержанным изменяла ему. Впрочем, лет пять назад, он действительно легко переносил и ночной разгул и разного рода жизненные осложнения. С веселой улыбкой бездельника и повесы отбивался он от ударов. В городе, в кругу товарищей, близких ему по манере жить и развлекаться, Мухтар забывал о невзгодах, отмахивался от них. Музыка, танцы, новые знакомства, общий галдеж большой компании—всё это помогало, поддерживало настроение. Иное дело в Лолазоре. Здесь нет ни одного ресторана, где нашелся бы компаньон, где оркестр и общий шум отвлекают от мрачных мыслей.

После ухода из школы он остался в Лолазоре только потому, что видел возможность поднакопить деньжонок с помощью всякого рода дел и делишек. И кое в чем успел. Нельзя сказать, чтобы время было потрачено впустую. В начале своей кишлачной жизни, он не подозревал, как трудно ему придется. Одиночество,—а он, несмотря на внешнюю общительность, был истинно одиноким человеком,—испортило его характер. Сам того не заметив, он утратил былую резвость, остроумие, игривость речи. Здесь они не ценились. Здесь всё время надо пыжиться, играть солидного человека. Только дома, у себя в каморке,—так

презрительно он называл жилище в глубине двора,—он мог дать волю своим вкусам, но с кем, с кем? Изредка наезжали погулять городские собутыльники... А из местных жителей? Начальник почтового отделения—тот всегда без денег. Он хоть и обожает Мухтара и готов с ним сидеть за бутылкой до утра, но глуп—дела с ним невозможны, да и рассказать ничего нельзя. Анекдоты и то не понимает! Кладовщик колхоза—человек веселый, компанейский и с деньгами, умеет и красиво приготовить стол и с наслаждением попировать; знает толк даже в коньяке. О, это тертый калач! Даром, что ходит в поношенном халате и в глубоких галошах. Кем он был раньше? От него этого не добьешься—сколько бы ни пил, никогда не распустит язык. Дело делом, а лишнего ничего не скажет. Молодец! Но слишком частые встречи с ним могут вызвать подозрения в кишлаке...

Как игрок, которому везет и перед которым на столе уже куча денег, но он не может остановиться и делает ставку за ставкой, жадно загребая к себе выигрыш, так и Мухтар не мог остановиться. Он понимал: пора отсюда уезжать—сколько веревочку не вить, а концу быть. Его удерживала здесь алчность, дела с кладовщиком, дела с зоотехником каракулеводческой фермы—как их бросить, как отказаться от столь хорошо налаженных связей? Мухтар был зол на себя, на окружающих, на весь мир.

Люди, подобные Мухтару, уверены в своем превосходстве над другими. Они считают себя умными только потому, что знают, сколько своих знакомых, друзей и приятелей им удалось обмануть. Но в них никогда не умирает и с каждым годом растет и ширится страх... И это страх не перед очевидной опасностью. Каждый человек понимает, что, отправляясь в бой или перебираясь вброд через горную реку, он подвергается опасности. Робкие души отступают. Рассудительные и осторожные стараются всё предусмотреть. Храбрецы идут навстречу трудностям. Мухтар был из тех, которые называют себя отважными людьми только потому, что они не считаются ни с обычаями, ни с законами, ни с общепринятой моралью. Преступления, которые он совершал, Мухтар в душе своей всегда именовал ловкостью. Он легко себя оправдывал и в начале своего пути смеялся над теми, кто гордился своей честностью. Тогда он еще не знал, что пройдет несколько лет,—и каждое новое лицо будет вызывать в нем

опасение и подозрительную осторожность: уж не следит ли этот человек за ним, не знает ли что-нибудь из его проделок? Опасности мерещились ему повсюду. Необходимость лгать и изворачиваться поминутно, хоть и стала второй его натурой, с каждым годом все более и более омрачала его жизнь.

Теперь он бывал весел и остроумен только под хмельком. Он стал пить и в одиночестве, подбадривать себя с утра. Ему долго удавалось не прибегать к спиртному на протяжении рабочего дня, но в последнее время он и в обеденный перерыв бежал домой, чтобы сделать глоток коньяку «для аппетита», и только после этого шел обедать.

Его отношения с женщинами, совсем недавно такие легкие и непринужденные, тоже осложнились. В кишлаке невозможно встречаться незаметно. Но главная беда заключалась в ином: Мухтару всякий раз казалось, что каждая новая знакомая любит его горячо и самозабвенно. Он излишне откровенничал с ними, хвастал, а, напившись, зло высмеивал тех, кого когда-нибудь надувал... Потом оказывалось, что и новая подруга ниже его, что у нее полно недостатков или что она мало его любит, так как не признает Мухтара своим повелителем.

С того самого момента, как в Лолазор приехала Зайнаб, Мухтар совсем потерял верное направление. Несчастная страсть к этой девчонке, которую он не может преодолеть вот уже сколько лет, возмущала его. «Что такое—неужели и я подвержен тому, что в романах и в стихах именуется любовью?»—часто задавал он себе вопрос. Он не знал, что и в нем живет потребность ласки, уюта, своей семьи. Душевную ожесточенность и раннюю опустошенность души он принимал за мужскую зрелость и мудрость. Неделю назад Мухтар еще был доволен налаженными, ни к чему не обязывающими отношениями с Мариам Сергеевной. Стоило приехать Зайнаб, и он уже не мог без неприязни смотреть на свою лолазорскую возлюбленную. Один раз он поклонился ей нарочито небрежно, в другой раз позволил себе с ней непристойную шутку. Она вызвала его на разговор, и сразу же чувство подсказало ей, что ее обманывают...

...«К чорту, к чорту, всё к чорту!»—сжимая себе голову ладонями, повторял Мухтар. Он всё еще сидел в своем кабинете. Сторожу сказал, что занят срочным де-

лом, и отослал его в правление колхоза за какими-то ненужными бумагами. Он даже свет не включил. В который уже раз он мысленно возвращался к разговору с Мариам Сергеевной. «Что она знает? Только о шариках?.. Или я по пьянке проболтался о наших делах с Абдулло?.. И что она сделает? Ограничится обидой и гневом, или... Или станет мстить? Начнет разоблачать?»

События последних двух недель тоже волновали его своей несуразностью и непоследовательностью. «Совсем перестал держать себя в руках. Распустился, да, распустился! Чорт его знает, откуда вдруг прилипла ко мне ревность! Ну, спуталась бы Зайнаб с Анваром, скомпрометировала бы и себя и его—ну, и прекрасно! Развязала бы мне руки. А я побежал следить, отправился к Сурайе. Хорошо, что хоть был вежлив сегодня с Анваром, устроил ему машину; он, кажется, ничего не знает—ни о разговоре с Сурайе, ни о моей утренней болтовне с врачихой...»

Подавленное состояние и все нарастающий страх довели его до того, что он подбежал к двери и повернул ключ. «Следует всё обдумать, всё взвесить! Надо ж так—и Зайнаб, и Анвар, и Сурайе, и врачиха, но хуже всего Абдулло!»

Ночной разговор с отчимом был и в самом деле страшным. План, который тот выдумал—привлечь нового человека только для того, чтобы сделать из него козла отпущения... Сложный, опасный план, да и неумный... Можно бы, конечно, пожертвовать Зайнаб. Устроить склад каракулевых шкурок в городе, у нее на квартире, но ведь она выдаст. Выдаст по глупости. Назовет мое имя. А теперь, после ее приезда сюда, любой увидит, что мы связаны... Вот если бы она продолжала жить в доме Анвара и если бы там ничего не произошло... Подбросить шкурки ему, спрятать их где-нибудь в кухне...

«Если бы да кабы,—передразнил он сам себя...—Ах, всё это не годится, и кругом, кругом одни враги. Даже Абдулло. Своя рубашка ближе к телу! Но как же быть, что делать?» Мухтар бегал по темному кабинету, наталкивался на стулья и столы. Вдруг он споткнулся об чемодан Зайнаб и чуть не упал. Это заставило его остановиться. «А где же она? Куда девалась эта проклятая девчонка?»

Он вспомнил, что когда пришла машина—все бросились

искать Зайнаб. Но Анвар торопил, не хотел ждать и одной минуты. Ясно—зачем ему афишировать свои отношения! «Благополучный человек! Благородный человек!—с лютой ненавистью думал Мухтар.—Ну, погоди же! Я до тебя доберусь и до твоей святоши Сурайе-тоже!» Но он и сам понимал, что угрозы его ничего не стоят, что мелкие пакости не свалят этого всеми уважаемого человека. Он даже, кажется, начал понимать, что таким способом может нанести вред только самому себе.

Вернулся сторож. Дернул дверь. Постучал. Мухтар притаился. «Что ему сказать? Сторож сейчас пойдет ко мне домой».

— Дядюшка Саттар, я здесь. Сейчас открою,—и, отомкнув дверь, он спросил:—Принесли бумаги?.. Ну, вот и хорошо, давайте. А я тут, сидя за столом, задремал.. Знаете, как устаешь!

Глава 9.

Мы оба желты от скорбей, мы оба в слезах и огне.
Увы! одинокая жизнь постыла тебе, как и мне.
Пылает в твоей голове сердечное пламя мое,
А в горестном сердце моем пылает твое бытие.

Абульнаджм Манучехри.

Этот вечер Мухтар провел со своими приятелями—начальником почтового отделения и кладовщиком колхоза. Славно провели время. Жены кладовщика не было дома, дети спали, никто не мешал. Ишмухаммедов приготовил плов, начальник почты сбегал за водкой. Они выпили, поели. Мухтар был в ударе. Удивительное создание человек—настроение может измениться за каких-нибудь полчаса. Что ему Ишмухаммедов? Даже другом его назвать нельзя, но успокаивает лучше всякой валерьянки. Чем? Своей отличной уверенностью и улыбкой. Да, улыбка опытного человека—ой, как это много! Ну, а кроме того—прищур глаз, плутоватый и веселый. Подарит взглядом, чуть-чуть ухмыльнется и откуда-то сразу берется уверенность, что всё трын-трава или как еще говорят русские—«где наша не пропадала».

После четвертой стопки Мухтар так развеселился, что стал плясать лезгинку.

В прошлом году он провел отпуск в Сухуми. Понравились ему тамошние песни и пляски и то, как там живут. «Ай, хороши в Сухуми женщины, но еще лучше мужчины!» Те грузины, с которыми общался Мухтар в дни отпуска, показали ему, как надо пить и веселиться. Они говорили, что он и сам похож на грузина. Признали, что он хорошо подражает их пляскам. А когда он взял в руки бубен и стал выбивать сложные таджикские ритмы—грузины без конца хвалили его, целовали, пили за него, а потом привели лошадей и всей гурьбой поскакали в горы.

Всё это рассказывал в тот вечер Мухтар своим кишлачным собутыльникам. Не жалел красок, дал возможность полюбоваться собой... И весь вечер у него почему-то было ощущение, что он прощается со своими друзьями. Словно всё это происходит в последний раз. А завтра или послезавтра он соберет свои вещички и—будьте здоровы, дорогие друзья, ждите от своего незабвенного и дорогого Мухтара Махсумова писем с красивыми марками!

И что удивительно—предчувствие отъезда не вызывало в нем никаких мрачных мыслей. Не надо было сжимать голову руками, не надо было ругать себя. Весь мир—прекрасен, и ему, Мухтару, не будет плохо. И если он уедет—на новом месте ему, наверное, будет лучше... Мухтар неожиданно поцеловал в щеку начальника почты, и тот даже зарделся от удовольствия и в ответ стал целовать Мухтару руку.

— Мухтар-джон,—спросил он со сладчайшей улыбкой,—как вы добиваетесь...

— Не вы, а ты,—поправил его Мухтар и еще раз чмокнул в щеку.

— ...как ты, золотой Мухтар, добиваешься того, что кожа на твоих руках нежнее, чем у девушки и пахнет персиком и миндалем?

Тут-то Мухтар и вспомнил опять о Зайнаб. С тех пор, как она приехала, он извел на себя половину того крема, который был у девушки. Вспомнив сейчас о том, что она куда-то исчезла, а перед тем побледнела, как тяжело больная, он не почувствовал ни раздражения, ни ревности. Так вспоминают в добрую минуту о непутевом своем ребенке. Его жаль до боли. Понимаешь, что конченный он человек, но ведь твоя кровь, разве можно отнестись равнодушно, разве можно бросить и забыть! Что и говорить, он сроднился с Зайнаб. «Проклятая девчонка!»—мысленно

повторил он слова, произнесенные им в тот мрачный час, когда он сидел в темном кабинете. Но тогда этими словами он ругал Зайнаб, а теперь вкладывал в них восхищение.

В двенадцатом часу ночи, захватив про запас четвертинку водки, Мухтар излишне твердым шагом, с гордо поднятой головой и взглядом победителя, шел посредине улицы к дому сельсовета. Опять, как и вчера, светил круглый месяц и легкий ветерок, теплый, нежный, весенний ветерок ласкал своим дуновением кожу лица. Улица была пустынной, только в окнах Анвара горел свет. Проходя мимо школы и мимо домика директора, Мухтар еще выше задрал голову. Всё ему сейчас было нипочем. Пусть-ка выйдет Сурайе—он ей скажет!

Что он ей скажет, Мухтар так и не придумал. Он вспомнил, что окно, выходящее на улицу—это окно детской, той самой комнатки, в которой жила всё это время Зайнаб. «Почему «жила»? Может быть, она и сейчас там?.. Нет, нет, чемодан-то остался в конторе...» Сердце защемило от предвкушения того, что сейчас он увидится с Зайнаб. Полчаса тому назад он сам задавал себе вопрос: куда она девалась? А сейчас—знал, да, не думал, а знал, что Зайнаб у него. Куда же, в самом деле, могла она деваться. Очень ей нужно ходить по кишлаку! Вспомнил он и молящее выражение глаз своей девчонки. «Протягивает командировку, старается придать себе независимый вид, а в глазах любовная тоска и робкая просьба простить...»

...Так оно, конечно, и оказалось. Войдя к себе, Мухтар не зажег свет. Постоял, чуть покачиваясь, в густой темноте и прислушался, принюхался: здесь или нет? Услышал прерывистое и чуть всхлипывающее дыхание обиженного ребенка. Почувствовал запах ее духов. И откуда-то из глубины пришло умиление. Только не умиление нежности, а другое—жадное умиление мужчины. Оно влечет за собой острое желание подхватить на руки, закружить, и целовать, и кусать, и шептать бессмысленные слова...

Стараясь не скрипнуть половицей, Мухтар стал подкрадываться к тахте. Но Зайнаб всё-таки проснулась, слегка вскрикнула, а потом прошептала:

— Кто это?—голос был беспомощным, как у челове-

ка, который никогда и нигде не чувствует себя дома, не может спрашивать по-хозяйски.

Мухтар двумя большими шагами приблизился к ней, опустился на колени, обнял Зайнаб за плечи и стал целовать. И глаза, и щеки, и губы, и даже руки—всё у нее было солоно от слез...

...Потом, когда она уснула, а в нем все еще бурлила энергия, он тихо поднялся, зажег настольную лампу и накрыл полотенцем, чтобы свет не бил в глаза спящей. Откинувшись на стуле и прикрыв веки, Мухтар отдался сладостной истоме. Мысли неопределенно метались вокруг какого-то еще неясного центра. Сейчас он подумает, а может быть и сделает что-то очень, очень важное, решающее. Именно так—решающее всю его жизнь. Но для решения не хватало чего-то, какой-то детали, одного глотка... Ну, за этим далеко ходить не нужно. Привычным движением он завел руку назад. На стуле висел пиджак, в кармане пиджака—четвертинка водки. Мухтар не стал себя утруждать поисками стакана. Выковырял карандашом картонный капсюль, сделал глоток прямо из горлышка. Четвертинку поставил на стол. Пошарил глазами чем бы закусить, нашел кусочек печенья, пожевал и вдруг увидел в пепельнице разорванный плотный лист бумаги. Такой белой глянцевой бумаги у него в доме никогда не было. Не задумываясь, не придавая тому, что он делает, большого значения, он разложил куски на столе, подобрал по извилинам рваных краев. Это оказалось не трудно. Перед ним теперь лежали стихи. И он уже собрался было небрежно смести их со стола, как вдруг заметил в предпоследнем байте имя Анвара. Тогда он стал читать:

Тайну я хотел сберечь, но не уберег,—
Прикасавшийся к огню пламенем объят.

Говорил рассудок мне: берегись любви!
Но рассудок жалкий мой помутил твой взгляд.

Речи близких для меня — злая болтовня
Речи нежные твои песнею звенят.

Чтоб умерить страсти пыл, скрой свое лицо,
Я же глаз не отведу, хоть и был бы рад.

Если музыка в саду—слушать не пойду,
Для влюбленных душ она, как смертельный яд.

Этой ночью приходи утолить любовь, —
Не смыкал бессонных глаз много дней подряд.

Уязвленному скажу о моей тоске,
А здоровые душой горя не простят.

Не тверди мне: «Анвар-джон, брось тропу любви!»
Я не внемлю ничему, не вернусь назад.

Пусть пустынею бреду, счастья не найду,—
Невозможен все равно для меня возврат.

«Господи,—покачивая головой и недобро улыбаясь думал Мухтар,—какой идиот... Вот тебе и благородный, вот и передовой... Попался ты мне теперь, голубчик!» Он взглянул на Зайнаб. Вот та, которой посвящены эти стишата. Мухтар не помнил, конечно, эти стихи Саади. Да и вообще он презирал поэзию. Делал исключение для Зайнаб. Если она читала вслух, а он был в благодушном настроении—мог и похвалить. Как хвалят способного ребенка —снисходительно, и только...

Он не ревновал. Ревнуют глупцы. Вчера он был глупцом. Ничего не знающим, не понимающим. Теперь Зайнаб всё объяснила. Мурлыкала, как кошечка. Женщины хитры, даже самые наивные. Она пошла гулять с Анваром только для того, чтобы размягчить этот сухарь: пусть-ка расскажет о своих делах, пусть даже немного влюбится. «Я ведь это делала по вашему совету, вы сами говорили—надо выведать в этой семье, как можно больше». Из этой глупышки серьёзного помощника, конечно, никогда не получится, но как не оценить ее старания.

Надо бы эти стихи склеить, сохранить. Но у Мухтара сейчас не было настроения заниматься подобным делом. Он глотнул еще водки. Стихи явно доставили ему удовольствие. Такие люди, как он, не довольствуются собственной оценкой женщины. Им нужен восторг всех, нужно, чтобы ему завидовали. Он глядел на Зайнаб, на растрепавшиеся ее волосы, на точеный носик, на темноватые выпуклые веки, скрывавшие чудесные миндалевидные глаза, на пухленькие ребячьи губы, рисунком своим выдающие и безволие, и милую капризность, и преданность. Потом перевел взгляд на фотографию веселого юноши, обнажившего зубы в жизнерадостной улыбке. Видимо, Зайнаб разглядывала фо-

тографию и оставила на столе. Старый снимок, покрывшийся мелкими трещинками, потемневший от многих прикосновений пальцев и губ. Да, наверное, и губ. А вот размывшиеся пятна—это, конечно, следы слез. На снимке был сам Мухтар. Тот Мухтар, который пришел когда-то, семь лет назад, в дом председателя облисполкома и познакомился там с маленькой, шустрой девчонкой. Последние несколько лет он только и делал, что старался избавится от нее. С болью отрывал и отталкивал от себя.

Тут-то и пришла та, самая важная, решающая мысль, которую он так долго искал. Да нет, не он искал это решение, а решение искало его. Восторг открывателя завладел Мухтаром. Разве он и впрямь не сделал весьма важное открытие? Ведь открыть себя, понять, что тебя мучит долгие годы, что препятствует приходу счастья—это ничуть не меньше, чем сделать шаг в науке!

«Все мои шатания, вся неопределенность моего положения, страхи, которые то и дело посещают меня—от одиночества. Никто обо мне не заботится, ни о ком не забочусь я сам, никого не люблю. Вспомни всех женщин и девушек, с какими ты встречался, Мухтар. Ни одна не оставила следа в твоей душе. И ни одна из них не дала тебе радости. Хочешь знать правду? Ни одна из них, кроме Зайнаб, и не любила тебя...»

Алкоголь подгонял его возбуждение и, как всегда, усиливал те чувства, которые в данный момент в нем преобладали. Вот еще одно открытие: от кого бы он хотел иметь ребенка? Сына. Уж не от Мариам ли Сергеевны? Уж не от той ли заплаканной дурочки из школы? Мухтар рассмеялся, да так громко, что Зайнаб открыла глаза.

— Спи, спи, маленькая,—сказал Мухтар с такой нежностью, что и сам удивился.

Зайнаб в ответ сонно улыбнулась, чуть-чуть пошевелилась под одеялом и тут же опять уснула. Он продолжал мечтать.

Вот уж, действительно,—мечтать! Эта мечта так доступна. Доступна давно... Если ребенок, если сын,—ну, конечно, ни от какой другой женщины, только от Зайнаб! Если он любил кого-нибудь на свете, (кроме, конечно, себя),—только Зайнаб! Так в чем же дело? Что ему мешает?.. Строил расчёты на выгодную женитьбу? Но ведь это расчёт на ограбление самого себя! Разве он, Мухтар

так слаб, что не может без помощи других построить свою семью, свое счастье? И вовсе не так уж он беден, чтобы нельзя было теперь же, завтра, послезавтра, начать другую жизнь—жизнь с любимой, с... женой!

Он попробовал возвратить то состояние тревоги, которое обуяло его вечером, после встречи с врачихой. Ужасы, расписанные услужливой мыслью, подавленной усталостью и внешним впечатлением, эти ужасы—ничто. Угрозы и преступные планы Абдулло тоже ничего не стоят... Мухтар скосил взгляд на ящик с магнитофоном. Скосил и плотоядно осклабился. Абдулло ведь не подозревает, что здесь, в комнате, есть магнитофонная лента с записью многих его высказываний. Под столом спрятан микрофон, диски крутятся под крышкой—этот шум не привлекает внимания. Уж на что вчера Мухтар был и пьян и зол, однако не забыл включить магнитофон. Всё записано. Абдулло никогда не посмеет выдать его, Мухтара. Самому хуже будет. Надо только пригласить его еще разок—пусть послушает, сколько наболтал подлых глупостей, как выдал себя!

Положительно, все мрачные думы, казавшиеся вечером великанами, ночью превратились в пигмеев. Дунуть—и улетели... Мухтар сделал еще один глоток. Большой. Посмотрел—осталось меньше половины. Сказал себе: «Хватит»! Взял со стола толстый карандаш и перечеркнул этикетку. Блондинка называет его алкоголиком. Пусть-ка посмотрит, как он легко бросит пить. Вот, женится, устроит все свои дела, обставит квартиру и сразу же после свадебного пира, как ножом отрежет. Ни капли, ничего!

Он сел на край тахты и стал нежными прикосновениями поглаживать плечо Зайнаб. А когда она открыла глаза, поцеловал ее и заговорил. Сказал, что любит, сказал, что готов жениться, сказал, что без нее жить больше не может, что здесь, в кишлаке, им не место. Он человек с образованием, ей осталось какой-нибудь год и она сдаст выпускные экзамены. Он ей поможет. Он не желает больше продолжать такую жизнь. «Зачем же, ну зачем, неправда ли, Зайнаб, я буду тянуть дальше эту невыносимую лямку...»

Она, не мигая, смотрела на него, и лицо ее отразило такое счастье, такую глубокую радость, что у него навернулись слезы.

— Как мы с тобой все эти годы обкрадывали себя,

Зайнаб. Маленькая, глупенькая, Зайнаб! Моя и только моя Зайнаб! Мне надоело осторожничать, надоело ждать и рассчитывать. Будем нуждаться—ничего! Ведь мы молоды и полны сил... Какой уж там Гаюр-заде!.. Я ведь только испытывал тебя. И если бы ты знала, какой подарок ты привезла мне, сказав, что этот человек вызывает в тебе отвращение...

Он строил планы, он описывал подробнейшим образом, как будет обставлена их квартирка. Он заявил, что продаст дом:

— Не хочу я жить в городе, где твой отец занимал такое высокое положение. Зачем это нам, правда?—Она кивнула головой.—Приятели твоего отца могут сказать, что я недостоин дочери известного всем Очила-Батрака... Уедем в Сталинабад или еще лучше в Гарм: там дешевле дома́. Денег, которые я выручу от продажи, хватит...

Зайнаб ни в чем не противоречила. Кончилось тем, что она выскользнула из-под одеяла, обняла Мухтара, покрыла поцелуями его лицо, руки.

Глава 10.

Я слыхал: удалось одному молодцу
От напавшего волка избавить овцу.
А под вечер, прирезать овечку спеша,
Он услышал,—овечья сказала душа:
„Спас от волка меня... Как мне взять это в толк?
Ныне стало мне ясно, что сам ты—мой волк".

Муслихиддин Саади.

...В третьем часу ночи, Зайнаб, умытая, причесанная, одетая стояла в тени тополя, неподалеку от сельсовета. Кажется, это был тот самый тополь, возле которого увидел ее Анвар. Какое это имеет значение! Сейчас она ждет, когда Мухтар вынесет из конторы ее чемодан, и они отправятся в путь. Он прав, ни ему, ни ей нет дела до жителей Лолазора.

Как же они потешались вместе над тем, что в стихах Анвар вписал свое имя на место имени великого поэта! Не мог придумать ничего лучше. Впрочем, Зайнаб жалко Анвара. Мухтар говорит, что он скверный, развратный человек. Нет, она верит в то, что учитель всерьез влюбился. Бывает, что человек теряет голову—чувства охватывают его с такой силой, что он перестает владеть

собой... Увидев Анвара в сельсовете, она убежала. Тогда, действительно, он внушал ей ужас. Теперь ей никто не страшен. И—ничто. Как всё сразу переменилось, как неожиданно!.. Неожиданно? Глупости, она ждала этого дня несколько лет. И Мухтар ждал. По-другому, по-мужски, умно, всё взвесив, всё подготовив. У него ведь нет родителей. У нее хоть осталась мать, а Мухтар с юных лет круглый сирота. Кто мог о нем позаботиться? Осторожность—не враг. Осторожность, да еще в сочетании с таким умом, как у ее мужа...

На улице никого не было, никто не мог видеть Зайнаб в тени дерева и все-таки, назвав Мухтара про себя мужем, она залилась краской. Но смущение это было ей приятно... И как он хорошо придумал: не откладывать отъезда. Сейчас он выйдет, они пойдут к шоссе и через два часа—дома. Потом придется на несколько дней расстаться. Всего лишь на несколько дней. Подумать только—Мухтар сдаст в сельсовете дела и не позднее чем через три дня приедет к ней!

Она услышала поворот ключа. Старик-сторож пробурчал что-то, кажется, пожелал Мухтару провести спокойно остаток ночи. Очень нужно ему это спокойствие!

— Где ты, Жаворонок?—голос Мухтара необычайно задушевен, он был таким разве что в Ташкенте, пять лет назад.

И вот они идут рядом, перебрасываются словами совсем как муж и жена. Мухтар берет ее под руку. Он ничуть не боится, что их могут увидеть. Ведь уже светает. Сутки назад, почти в это время, к ее окошку подошел Анвар...

Мухтар держит ее под руку, а в левой руке несет чемодан. Ни разу не остановился. Ни разу не перебросил ношу в другую руку. Сильный мужчина. Он и прошлую ночь почти не спал и эту...

— Мухтар,—вполголоса говорит Зайнаб.

— Что?

— Мухтар, Мухтар, Мухтар, мой Мухтар-джон!—бессмысленным от счастья голосом повторяет Зайнаб и старается заглянуть любимому в глаза.

Но вот вдали видно шоссе. Там пустынно, не то что днем. Но Мухтар уверен, что машину они дождутся. По ночам возят из колхозов в город свежие овощи—раннюю редиску, первые огурцы, салат.

— Мечтаю,—говорит Мухтар,—поймать такси. Знаешь, как хорошо? Ты положишь головку мне на колени и уснешь.

— Нет, ты положишь голову ко мне на плечо...

— И усну? На плече? Плохо ты меня знаешь, Зайнаб. Разве я смогу уснуть, если рядом со мной будешь ты?

Она радостно смеется и вдруг вскрикивает:

— Смотри, смотри, Мухтар, машина! Останавливается!.. Бежим!—она хватает за ручку чемодана и тянет Мухтара вперед, хочет ему помочь, чтобы только скорее, скорее...

Действительно, вдалеке, на развилке шоссе и проселка, останавливается грузовая машина. Открывается дверца, выходит какой-то человек. Но тут же шофер захлопывает дверцу, слышно, как он включает скорость и... только они и видели ее, эту машину!

— Ничего!—говорит Мухтар, тяжело дыша.—Вот ведь, проклятая водка! Если пьешь коньяк—нет такой одышки... Вообще лучше не пить. И я не буду—вот увидишь, Зайнаб, как только переедем...

Зайнаб тянет Мухтара за руку в сторону, за толстое дерево.

— Это идет Анвар,—шепчет она.—Зачем нам с ним встречаться!

— Директор? Ну, и что же? Подумаешь!—но он все-таки подчиняется Зайнаб, становится за деревом.

— Ну его! Заведет разговор. Или в тебе заиграет ревность. Вы, мужчины, страшно несдержанные. Никогда ни за что нельзя поручиться.

Ее Мухтар, обычно такой строптивый, на этот раз соглашается. И даже целует ее в щеку.

— Садись на чемодан,—говорит он,—отдохни немного. Только, смотри, когда он будет проходить, не засмейся... Ты говоришь—ревность. Он не вызывает во мне сейчас ничего, кроме презрения и смеха,—Мухтар выглядывает из-за дерева.—Да, верно, это он... Знаешь, да ведь твой Анвар пьян, как сапожник! Его качает из стороны в сторону... Назюзюкался в городе... А сейчас куда-то исчез... Не видно... Остановился, что ли?..

В предрассветной мгле очертания предметов расплывались, как в тумане. Куст легко было принять за человека, кроны деревьев казались облаками.

— Что-то его долго нет,—проговорил Мухтар.—Уж не свалился ли он там где-нибудь... Тшш! Идет...

Полминуты спустя, мимо них прошел человек. Пожалуй, если бы Мухтар и Зайнаб не спрятались—он тоже бы их не заметил. Ему было не до того. Он, видимо, затрачивал все силы на то, чтобы сохранить равновесие.

— Держись!—вполголоса приказывал он сам себе.—Держись, Анвар! Сейчас начнется улица... началась... улица... могут встретиться. Возьми себя в руки!.. Вот так...

Зайнаб зажала ладошкой рот Мухтара, а после того, как Анвар прошел уже шагов пятьдесят, не выдержала и сама. Анвар не услышал.

— Наплевать на него. Что мы пьяных никогда не видели! Идем.

И они пошли. Но когда достигли того места, где останавливался несколько минут назад Анвар, Зайнаб воскликнула:

— Взгляните, что это?—и тут же закричала:—Товарищ Салимов!

— Дура,—проговорил Мухтар почти зло и дернул ее за руку.—Замолчи!—Он тоже увидел на траве, около камня, лежавшего возле арыка, туго набитый портфель.

— Ну как же, ну как же так, Мухтар? Ведь это он случайно оставил, наверное, сел отдохнуть и забыл.

— Подожди!—Мухтар долго смотрел вслед Анвару. Тот продолжал свой путь. Убедившись в том, что Анвар не собирается возвращаться, он стал говорить:—Как ты не понимаешь, если мы ему отдадим сейчас, он опять потеряет, а уже другие найдут, как знать, получит ли он когда-нибудь обратно свою потерю...

Сказав это, Мухтар задумался, лицо его изменилось, как бы окаменело. Плотно сжав губы, он простоял в оцепенении не меньше минуты. Зайнаб смотрела на него с испугом. Ей казалось, что Мухтару плохо.

— Я не могу,—процедил он, наконец, и опять замолчал.

— Что с вами, Мухтар-джон? Вы заболели?

— Нет, нет. Другое... Тут в портфеле деньги, много денег... Анвар привез жалование учителям... Надо доставить эти деньги по назначению... Но сегодня уже поздно. А брать с собой в город такую сумму я тоже не решаюсь...

— Что же делать?—растерянно произнесла Зайнаб

и прижалась лицом к его плечу, заглянула в лицо. Он как бы и не замечал ее ласк. Глаза его остеклянели, он весь ушел в себя.

— Ну, ладно,—проговорил он коротко, как бы не желая сбиваться с того, о чем так напряженно думал.— Придется отложить отъезд. Идем обратно. Ко мне... И вот что, открой-ка свой чемодан!

Она, еще не понимая, что он задумал, дрожащими руками открыла замки чемодана. Там было довольно много места, Мухтар вложил портфель, быстро закрыл крышку, щелкнул замками.

Они возвращались другой дорогой. Так ближе, объяснил Мухтар.

Начал накрапывать дождь. Мухтар накинул свой пиджак на плечи Зайнаб. Разве спасет от дождя ее шелковый плащ...

...В дом они прошли через калитку, не обеспокоили сторожа. Войдя в комнату, Мухтар тщательно запер за собой дверь и велел Зайнаб немедленно лечь спать.

— Обо мне не беспокойся. Я сейчас тоже лягу... Ну, вот будешь со мной спорить... Мне совершенно необходимо кое-что написать... Повернись-ка лицом к стенке и спи.

Поцеловав ее, Мухтар накрыл Зайнаб с головой, но она все же услышала, как что-то звякнуло, а потом булькнуло. Зайнаб не догадалась, что ее будущий муж допил оставшуюся в четвертинке водку. Потом, освободив на столе место, он положил перед собой лист бумаги и вывел крупными буквами слово АКТ.

Сквозь сон Зайнаб слышала, как по стеклу били крупные капли дождя. Шум этст смешивался в сознании со скрипом пера, и родился странный сон, будто везут ее, связанную, на арбе с огромными колесами, какие видела она только в детстве, колеса скрипят и постукивают на камнях. А верхом на верблюде, впряженном в арбу, спиной к ней, сидит какой-то человек, и ей страшно, что он сейчас обернется. То ей кажется, что человек этот Гаюр-заде, то представляется, что это отец. Неведомый возчик обернется сейчас, посмотрит на нее и скажет, что лучше закопает живьем, чем отдаст Мухтару. А рядом с ней, на той же арбе, подпрыгивает от тряски ее новенький чемодан. В чемодане, она хорошо знает, лежит портфель Анвара. И чем дальше, тем сильнее тряска, чемодан

сдвигается к краю арбы—сейчас упадет. Она хочет крикнуть, но боится возчика. Но вот чемодан соскальзывает и падает с арбы, однако, стука почему-то не слышно. Зато все сильнее и сильнее скрип. Он режет ухо, от него в голове становится так неприятно, что Зайнаб начинает шопотом просить возчика остановиться. Губы почему-то шепчут имя Мухтара...

— Мухтар, Мухтар!

Она проснулась от того, что ее трясли за плечо.

— Что с тобой? Ты все время бредишь.

В комнате был предрассветный полумрак. Но когда она взглянула на окно, то увидела, что по стеклу струится вода.

— Ой, Мухтар, вы так и не ложились? Вторую ночь...

— Ничего. Настроение у меня хорошее. Очень хорошее. Теперь у меня есть маленький любимый человечек, который обо мне думает и жалеет, если я переутомлюсь...

Он говорил с ней ласково-снисходительным тоном, но лицо его в смешанном свете настольной лампы и дождливого утра было страшно. Кожа вокруг рта натянулась вдоль десен, так что хоть рот и был закрыт—угадывались зубы. А под глазами нависли мешки. И сами глаза лихорадочно блестели, не подчиняясь своему владельцу. Он хотел смотреть ласково, а глаза смотрели с нетерпением и подозрительностью.

— ...Скоро девять,—продолжал Мухтар, не меняя интонации.—Мне надо идти. Ты останешься здесь. Я тебя запру; не нужно, чтобы кто-нибудь видел тебя в Лолазоре. А тем более в доме сельсовета. Вечером я отвезу тебя в город.

Всё, что он говорил, было правильно и разумно. Но Зайнаб чувствовала, что он думает о другом, а слова, произносимые им, означают совсем иное.

Выскользнув из-под одеяла, Зайнаб положила руки на плечи любимому и, ласкаясь, долго смотрела ему в глаза. Он нахмурился, отвернулся.

— Ложись, тебе надо поспать... Немного погодя я скажусь нездоровым и вернусь к тебе.

Тут она случайно увидела на столе лист бумаги, озаглавленный словом акт. Заметив направление ее взгляда, Мухтар взял бумагу, сложил ее в четыре раза и собрался сунуть в карман. Зайнаб вспомнила о деньгах,

о зарплате учителей. «Акт, что такое акт? Ах, да, это означает, что Мухтар сделает официальное заявление...»

— Не надо,—сказала она просящим голосом.

— Что не надо?

— Мухтар-джон, вы хотите привлечь Анвара к ответственности... Не надо ему мстить. Он так устал, вчера Сурайе ужасно его обидела—накричала на него. Я тоже его оскорбила. У него и без того на душе ночь. Вы поступите благородно, если отдадите... Пойдете к нему домой или позовете его к себе...

Мухтар смотрел на нее, улыбаясь. Он снял ее руки со своих плеч, посадил ее на тахту, а сам уселся на стул. Голосом наставника—строгим, убедительным и в то же время не лишенным ласки, он заговорил, как говорил вчера в сельсовете с непонятливой старухой:

— Вот идет дождь... Хороший весенний дождь. Дождь это большое счастье для народа: будут хорошие всходы. Мы с тобой не сеем и не жнем, но разве нам не нужно счастья? Разве мы не ждали его так долго?

Зайнаб затихла, не понимая к чему он клонит и зачем так долго тянет. Если правда, что уже девятый час—это ведь значит, что не только в доме Анвара, но и в школе уже переполох. Она вообразила отчаяние всей семьи... Сурайе не плачет, она женщина сильная. По лицу ее видно, что несчастье она переносит с твердостью и достоинством. И все же разве это уменьшает ее страдания? Но самые тяжелые муки, конечно, переживает сейчас Анвар...

— ...У тебя рассеянный взгляд,—точно так Мухтар говорил с маленькой Зайнаб, когда объяснял ей премудрости логарифмов. Он ведь учитель, ее Мухтар и специальность его—математика.—У тебя рассеянный взгляд,—повторил Мухтар,—а то, что я тебе сейчас говорил, должно в тебе вызвать радость.—Громко и с пафосом он сказал:—Нам повезло. К дню нашей свадьбы мы получили изумительный подарок!—Он расхохотался и, вынув из кармана сложенный вчетверо акт, развернул его и взялся за края обеими руками.—Вот, смотри, я его рву, этот акт, который мог бы привести к тому, что Анвар получил бы выговор по партийной линии и был бы снят с поста директора школы!

— Милый, хороший!—с неподдельным восторгом воскликнула Зайнаб.

— Подожди, подожди. Ты еще не всё знаешь. С Анваром произойдет другое. И это другое, можешь быть уверена, уже началось. По-просту говоря—директора лолазорской десятилетки товарища... нет, не товарища, а гражданина Анвара Салимова упрячут в тюрьму и будут судить по всей строгости закона... А денежки...

— Как вы сказали? Судить?... Но ведь деньги здесь! Деньги мы вернем...

— Глупенькая моя девочка! Ты ведь не дослушала то, что я начал говорить о дожде... Вот я стал писать акт и, можешь поверить, собирался передать портфель с деньгами и вместе с этим актом, в котором, кстати сказать, упомянута и твоя фамилия—фамилия, имя и отчество свидетеля. Но потом, когда пошел дождь, я понял, что акт не нужен, что никто и никогда ничего не узнает... Даже самая лучшая ищейка после такого дождя не найдет наших следов...

Зайнаб чувствовала, как к горлу ее подступает комок, руки, плечи, всё в ней напружинилось и крупно дрожало. Когда Мухтар произнес последние слова, у нее вырвались рыдания.

— Вы шутите, вы шутите,—кричала она,—вы так не можете!

Она вскочила, хотела его обнять, молить о пощаде. И она, действительно, закричала:

— Пощадите, пощадите... меня! Вы же говорили, что любите...

Он грубо ее оттолкнул, свалил на тахту:

— Замолчи, идиотка! Еще одно слово, и я тебя убью... Замолчи, замолчи, замолчи!—он тряс ее, как бы стараясь вытряхнуть из нее дурь, глупые представления, нелепые мысли.—Убью!—повторил он с такой злобой, что Зайнаб немедленно замолчала.

Боли она не чувствовала и рот ее был свободен. Она могла бы кричать, но смолкла потому, что сознание ее молнией прорезало ясное понимание: убьет.

«Он вор, вор, простой вор! Гнусное чудовище...»

Размягчив все мускулы, она как бы подчинилась ему. Она старалась придать своему взгляду выражение полной покорности. Минуту спустя, Мухтар начал отходить, краска сползла с его лица. Он оставил ее, но все еще не спускал с нее глаз. Потом сел, а вернее, повалился на стул. Молчали оба, и он, и она. Откинув занавеску, которая

закрывала нишу, он, не вставая со стула, брал оттуда и устанавливал возле себя пустые бутылки: из-под коньяка, водки, вина, ликера... Зайнаб смотрела на него, ничего не понимая. Минутами ей казалось, что это сон или помешательство. Все так же молча, Мухтар пододвинул к себе пустой стакан и стал сливать из каждой бутылки по нескольку капель. Бутылок было много—не меньше двадцати, а жидкости, мутной, желтоватой жидкости, набралось не более полустакана... Дрожащей рукой Мухтар поднес стакан ко рту и одним глотком проглотил содержимое...

Потом он закурил. Он редко курил, но папиросы всегда носил в кармане. Сделав несколько затяжек, Мухтар глубоко вздохнул и стал говорить.

— Теперь тебе всё ясно. В твоей воле поступать так или иначе. Одно могу сказать—я тебя очень люблю. И все глупости, которые ты делала до сих пор, делаешь и будешь делать, всегда прощал, прощаю и буду прощать...

Зайнаб набрала в грудь воздуха, но она не собиралась говорить, просто ей было невыносимо душно.

— Подожди,—остановил он ее,—я не договорил... Прощать... Вот ты, своей волей, намеревалась простить преступника Анвара. Не только преступника, но и врага твоего мужа. Молила за этого человека, намекала на то, что, составив на него акт, я совершаю подлость. Но ведь ты совершаешь еще большую подлость, желая предать меня.

— Предать?—недоуменно воскликнула Зайнаб.

— Да, конечно, предать! Ты ведь кричала. Что такое крик? Зов о помощи. Какая помощь тебе нужна? Отвечай.

Зайнаб молчала. Всё, что говорил Мухтар, было связным и даже имело видимость логики. Но слова отскакивали от нее. Сердцем она чувствовала—ложь, ложь, ложь! Ложь и страшная низость, низость души.

Мухтар стал еще более вкрадчиво, еще более красноречиво нанизывать фразу на фразу. Он даже подпустил в свой голос слезу:

— Пойми, Зайнаб, у нас с тобой только два пути: или утопить Анвара и оставить себе эти деньги, или самим сесть на скамью подсудимых. Третьего не дано... Ты спрашиваешь, почему?

Она не спрашивала, но ее не мог не поразить такой странный изгиб его мыслей.

— Я тебе отвечу. Сейчас скоро девять. Мы подобрали

портфель в половине третьего или в три, что-то в этом роде. Прошло шесть часов... А сколько времени нам понадобилось бы на то, чтобы позвонить в милицию? Несколько минут, не больше. По закону мы должны поступить только так—немедленно отправить находку в милицию. Нас обвинят либо в том, что мы хотели присвоить эти деньги, либо в том, что мы хотели покрыть преступную халатность гражданина Салимова... Ну, а теперь, что ты мне ответишь?

И Зайнаб ответила:

—Делайте, как вы считаете нужным.

Глава 11.

Я, ложь позабыв, к правде снова пришел.
Под сень благодатного крова пришел.

Муслихиддин Саади.

«...Передо мной ученические тетрадки, в которые я заношу все волнующие меня мысли, вспоминаю события тех далеких и вместе с тем таких близких по времени дней. Не стремление к литературной известности толкнуло меня к столу. Нет. Эти, если можно их так назвать, воспоминания, нужны мне, чтобы уяснить себе, и прежде всего себе, суть происшедшего, найти самое важное.

Задача трудная. Не знаю—справлюсь ли я с ней...

Сперва я хотел изложить все события в том порядке, как они происходили. Но когда взял в руки перо и принялся писать, понял, что в строгой последовательности у меня ничего не получится. Мысли обгоняли одна другую и—надо сознаться—не привык я записывать свои мысли, не привык мыслить на бумаге. Да и что с меня требовать: я простой сельский учитель.

И, вот, пишу и не знаю, что у меня выходит. Хоть и прошло две недели, но мне еще далеко не всё ясно. Года через два-три перелистаю эти тетрадки и—заранее уверен,—кое над чем посмеюсь, а что-то даже не признаю верным... «Как же так,—могут спросить меня,—значит, вы пишете неправду? Значит, не искренни перед самим собой? Зачем же тогда эти записки? Кого вы хотите обмануть?»

В ответ я тоже спрошу: «Разве искренность и объективная правда одно и то же? Разве нельзя искренне

заблуждаться? Разве оценка фактов не зависит от настроения и душевного состояния? А память?...»

Конечно, ни один врач не назвал бы состояние, в каком я тогда находился, состоянием невменяемости. Разумеется, я должен был отвечать и ответил за свои поступки. За все! Хотя многие их них и сейчас еще, как в тумане, а некоторые я решительно не помню...

Я начал эти записки два дня назад... Сейчас принялся за вторую тетрадь. Ночь. Дети спят в своей комнате. Сурайе делает вид, что спит, но нет-нет да и взглянет на меня одним глазом, чуть приоткрыв веко...

С чего начну я сегодня?

Утром, у входа в школу, меня встретила Шарофатхола, наша уборщица.

— Товарищ директор...—обратилась она ко мне, но не успела и слова произнести, как я оборвал ее.

— Вам отлично известно, что я не директор, а рядовой преподаватель!—воскликнул я и лицо мое, наверное, стало злым и противным.

И тут же я понял, что непозволительная резкость, которую допустил по отношению к старому и не очень-то грамотному человеку, роняет прежде всего меня самого... Вот ведь, давно осознал, что виноват, что происшедшее было плодом моих ошибок, а самолюбие нет-нет, да и взыграет.

Как согнулась под моим окриком эта маленькая старушка... Как от незаслуженной обиды затряслись у нее руки. Когда я, наконец, успокоил ее, объяснил, что никакого зла к ней не питаю, она сообщила, что нашла нам квартиру. Бегала по всему Лолазору, уговаривала своих близких освободить для моей семьи две комнаты! И ведь Шарофатхола не рассчитывала ни на какое вознаграждение. Ну, был бы я ее начальством, как прежде... Просто в ней говорило сочувствие, глубокое сочувствие и понимание...

Я ощутил это сочувствие, подлинное товарищеское отношение со стороны всех работников школы, со стороны всех моих знакомых. Спасибо им. Они поддержали меня в трудную минуту, ободрили, дали мне сил...

В первую очередь я хочу рассказать о том, что взволновало меня сильнее всего.

Когда уже всё случилось и когда мои товарищи по

работе поняли, что зарплату они не получат, а если и получат, то не скоро, чего я мог ожидать? Я ведь был, как побитая собачонка, и говорить-то толком не мог... «Потерял, потерял»,—повторял я бессмысленно, пожимал плечами, разводил руками, хватался за голову, садился, вставал, бегал по комнате... Получить вместо зарплаты такое зрелище—вряд ли кому-нибудь интересно.

У меня в сберегательной кассе около шести тысяч рублей,—мы копили деньги, чтобы приобрести для Мухаббат пианино,—у девочки отличный слух,—и когда ко мне пришли товарищи, я хотел положить сберкнижку перед ними на стол, но побоялся. Как бы они не подумали, что я хочу этими шестью тысячами покрыть всю пропажу...

Какая глупость! Вообще в голове мутилось. Логику я совершенно утратил. Трясся, отвечал невпопад, но при этом готовился к отпору—пусть только попробует кто-нибудь меня оскорбить!

Однако, я не услышал ни одного возмущенного возгласа, ни одного оскорбительного предположения! Даже после моего ареста никто не сказал обо мне дурного слова.

А в то утро, когда мои товарищи по работе пришли ко мне домой, они не только не ругали меня, напротив,—успокаивали, да-да, уверяли, что портфель найдется, обязательно найдется... Их лица светились таким участием, таким желанием добра, что я понемногу стал приходить в себя. И на улыбки сумел ответить хоть и кривой и дрожащей, но тоже улыбкой.

Вот это я и хочу прежде всего записать. Поблагодарить за доверие и поддержку... Нет, этого мало. Кроме доверия и поддержки было еще понимание. Помню, старый учитель Бакоев, оставшись со мной наедине, начал мне объяснять, что происходит. Не я ему, а он мне рассказывал что всё, наверное, произошло от волнения и оттого, что я не спал предыдущую ночь. Он даже намекнул на мою влюбленность, подмигнув при этом хитро и по-стариковски добродушно... Я никогда не забуду то, как отнеслись ко мне в нашем небольшом коллективе. Это, наверное, и решило мою судьбу.

Еще раз спасибо вам, товарищи! Ваше отношение дало мне силы говорить правду. Всю правду. Не увиливать и не утаивать.

А теперь вернусь к тому дню, когда, придя в школу после бессонной ночи, я встретился с Шарофатхолой. Это

было в шесть утра и что произошло с того времени до начала занятий—совершенно вылетело из головы. Та же Шарофатхола рассказывала потом Сурайе, что я ходил взад и вперед по кабинету, сидел с блаженным видом у открытого окна, что-то писал, что-то шептал... Начались занятия. Я провел два урока... По времени—пора бы ехать в район за деньгами. Словно в тумане помню: заведующий учебной частью говорил, как переделает расписание в связи с моим отъездом и кто проведет уроки вместо меня. Я кивал, соглашался, но смысл разговора ускользал...

В результате произошла такая нелепость: после большой перемены я пришел в седьмой класс «Б», где по расписанию должен был состояться мой урок. Там почему-то оказалась за преподавательским столом Елена Ивановна Петрова—наша биологичка. Я спросил: как она тут очутилась? Елена Ивановна с обидой пожала плечами и вышла. И я провел урок. Нормальный урок. А когда началась перемена, мне опять напомнили, что давно пора ехать за деньгами...

Где-то я читал, что рассеянность на самом деле свидетельствует о повышенной сосредоточенности. Крупные ученые потому так рассеяны, что мозг их всё время занят решением какой-то проблемы. Сосредоточенность мешает им замечать окружающее. И все думают: «Вот какой рассеянный с улицы Бассейной!»

Моя рассеянность была, конечно, результатом ночных происшествий... (Сейчас я выражаюсь очень прозаически: не говорю о любви, не говорю даже о страстном увлечении, называю все «происшествием»). Из головы не шли строки—«Не тверди мне: «Анвар-джон, брось тропу любви!» Я не внемлю ничему, не вернусь назад. Пусть пустынею бреду, счастья не найду,—невозможен все равно для меня возврат». Строки эти повторялись механически. При свете дня я не мог придавать им того значения, какое придавал ночью. А между тем подсознательно прислушивался к скрипу каждой школьной двери, к шагам каждой женщины. Я и боялся прихода Зайнаб, и хотел ее увидеть, и благодарил за то, что она не идет.

Думал ли я о Сурайе? Конечно! Встречи с Сурайе я ничуть не боялся. Был уверен, что она в своем классе. Заметил, что, вопреки обыкновению, жена не зашла ко мне перед началом уроков. Но и это не встревожило меня. Я даже радовался: ведь здесь, в школе, разговоры и объ-

яснения совершенно неуместны. Сурайе молодец, она это понимает!

Когда мне в третий раз напомнили, что я давно должен был уехать, сказали, что даже те преподаватели, у которых сегодня нет уроков, пришли получать зарплату—я встрепенулся. Можно даже сказать проснулся. Кто-то произнес: «Последняя зарплата перед Первым мая...» Тогда я принял молниеносное решение: сяду в такси, на попутную машину, сделаю всё, что угодно, но деньги привезу!

От школы до моей квартиры не больше ста шагов. (Вот пишу «моей квартиры», а надо бы—«директорской». Завтра или послезавтра приедет новый директор, придется перебраться в домик, который нашла нам Шарофатхола). Сто шагов... И шел я довольно быстро. Но именно в этот короткий промежуток времени, пока я шел, меня будто встряхнули и всё встало на место. Я прозрел. Чувство острого стыда все больше и больше овладевало мной. Увидел себя со стороны, все свои ночные и утренние поступки, всю оскорбительность моего поведения... Оскорбительным мое поведение было не только в отношении Сурайе и Зайнаб, но и в отношении меня самого. Подходя к дому, принял решение: сейчас же просить у Сурайе прощения, рассказать, как началось и как разрасталось мое увлечение и к какой глупости привело. «Скажу, что виноват, она меня поймет, поймет, не может не понять!...» С этими мыслями я вошел в дом.

Сурайе не было. В комнате Зайнаб царила тишина. Да и не думал я в эту минуту о Зайнаб, хотя, конечно, если бы увидел ее—и перед ней бы извинился.

Несколько минут я ходил по комнате, подбирая слова, которые скажу Сурайе. О том, что надо ехать в город за деньгами, опять забыл. На счастье или на несчастье—не знаю, я увидел портфель, в котором обычно привожу зарплату из района. Спохватившись, я взял шляпу и плащ, и в эту самую минуту вошла Сурайе...

Без малого одиннадцать лет прожили мы вместе. Я был уверен, что знаю свою жену, как себя. Всегда мог предсказать, что скажет она по тому или иному поводу, в каком случае рассердится, в каком рассмеется. Преобладающей чертой характера своей жены я считал здравый смысл, рассудительность, спокойствие. И не я один. Все наши товарищи по работе ставили Сурайе в пример, как

наиспокойнешего члена школьного коллектива. Я мог вспылить, мог даже раскричаться. Сурайе в минуты споров и разногласий была мягче, чем когда-либо. Ждала, пока я отойду, а потом высказывала свою точку зрения. И это почти наверняка сокрушало все мои доводы...

Я написал: «знаю свою жену, как себя», а сейчас подумал—знаю ли я себя? Во всяком случае, две недели назад я знал себя хуже, чем сейчас...

... Помню ясно,—что с плащом через руку, с шляпой и портфелем в другой руке, я стою в проеме двери и прямо на меня идет моя жена. Глаза у нее расширены. В двух шагах от меня она резко останавливается и устремляет на меня горящий взор... И молчит. Пропускаю ее. Она проходит в комнату.

— Я еду за деньгами,—говорю я.

Она молчит.

Кажется, начинаю понимать ее состояние. Она хочет что-то сказать, но не может... Видимо, горло ее перехватила спазма.

— Сурайе,—говорю я, как можно ласковее, но в моем тоне так очевидно намерение предупредить ее вспышку, что я и сам этим недоволен.—Сурайе,—повторяю я,—нам очень, очень нужно поговорить. Я должен сознаться... Во всем считаю себя виновным...

И тут она бьет меня наотмашь по лицу и кричит, кричит во весь голос:

— Негодяй! Спутался с какой-то потаскухой! В своем доме...

Я отшвырнул портфель и шляпу на кровать, схватил жену за руки... Я не помнил себя от бешенства... Она продолжала сыпать оскорбления. Последняя фраза, которую я услышал, поразила меня своей ужасной несправедливостью:

— Развратник и лжец! Мне известно, вы всё заранее подготовили...

Тут открылась дверь детской. И я увидел—прижимаясь к стенке, скользнула к выходу Зайнаб. Она, конечно, всё слышала.

Оскорбления ведь сыпались и на ее ни в чем неповинную голову. Нужно было ее удержать. Явился план: сесть втроем, объясниться и всё уладить...

Я выбежал на улицу, закричал: «Зайнаб! Зайнаб!»

Она обернулась и взглянула на меня с таким презре-

нием, что я готов был провалиться сквозь землю. Несколько слов, которые сказала наша гостья, почти буквально повторили последнюю фразу Сурайе...

Я вернулся в комнату. Моя жена билась на постели в рыданиях. Не сказав ни слова, не попрощавшись, я взял портфель, шляпу, плащ и вышел из дому. Ноги мои одеревенели, всё тело плохо мне подчинялось.

Как заведенный, пошел я в школу, позвонил Махсумову и попросил посодействовать мне добраться до района... Потом я пошел в сельсовет и, помнится, вполне вежливо разговаривал с Мухтаром и он мне так же вежливо отвечал. Сказал, что машина Заготхлопка идет в город, но что он убедил директора и тот разрешил сделать крюк и завезти меня в райцентр. Я поблагодарил. Махсумов вдруг сказал, что сейчас разыщет мою попутчицу.

— Какую попутчицу?—с недоумением спросил я.

Секретарь сельсовета как-то особенно улыбнулся и ответил с непонятным мне тогда ехидством:

— О, весьма желанную для вас... Вашей попутчицей будет инспектор облоно... Не помню фамилии...

— Кабирова?!—спросил я чуть ли не с ужасом.

Махсумов откровенно расхохотался и побежал искать Зайнаб. Но тут подъехала машина, и бухгалтер Заготхлопка, который сидел рядом с шофером, стал торопить: «Скорей, скорей, у меня нет ни минуты времени!»

Короче говоря—мне повезло...

Вот уж, поистине, нелепость! В моих записках, что ни слово—можно повернуть и так, и эдак. Конечно, повезло бы мне как раз в том случае, если бы Зайнаб нашли и мы уехали бы вместе. Уж—будь я не один—всё, происшедшее позднее, разумеется, не могло бы случиться. Но в тот момент я очень обрадовался, получив возможность удрать от «желанной попутчицы».

Юлиус Фучик в своем предсмертном произведении «Репортаж с петлей на шее», в одном месте пишет, что коммунист должен оставаться коммунистом везде, никогда не давать себе отпуска от своих убеждений. Не только работая, но и в поезде, и в ресторане, и дома проверять каждое свое слово. Не совершать поступков, не рассмотрев их мысленно с партийной точки зрения. Это не дословная цитата, но за смысл я ручаюсь.

Был ли я коммунистом в ту ночь, и в тот день и в следующую ночь? Определяйте сами. Одно знаю наверное—я позволил себе распуститься.

Впрочем, и это требует объяснения.

Прослеживая внимательно всю цепь, звено за звеном, я обнаруживаю, что самую тяжкую ошибку совершил не тогда, когда влюбился. Нет; я пал жертвой другого недостатка. Очень распространенного и тем самым, значит, наиболее опасного.

Моя любовь к жене—хотя и искренняя и серьезная—и моя страстная влюбленность в Зайнаб были начисто лишены уважения.

Неуважение к женщине—вот в чем я вижу теперь корень зла. А ведь это означает и отсутствие уважения к самому себе.

Впрочем, когда я ехал на машине в райцентр, я думал не об этом. Главным и всеобъемлющим было чувство обиды. Хорошо еще, что бухгалтер Заготхлопка сидел в кабине с шофером, а я в кузове. Разговаривать с ним не пришлось. Уж какой там из меня собеседник был в тот день!..

Ветер дул в лицо. Это меня немного освежило... Примечательно, что, проведя бессонную ночь, а потом пережив столько всяких волнений, без завтрака и без обеда, я был еще полон сил. О еде я ни разу не вспомнил. Перебирая события минувших суток и стараясь найти объяснение тому, что произошло, я во всем обвинял одну лишь Сурайе. Ее неразумная, слепая ревность казались мне единственной причиной скандала. Ведь я шел к ней с открытой душой, а она... Мысленно я не прекращал спор со своей женой. Временами воображал себе, как, хлопнув дверью, уйду из дому... Но, честное слово, даже допуская возможность разрыва с женой, я не собирался осуществить мысль, заложенную в переписанной мною газели Саади. Зайнаб, вместе со встречным ветром, улетела назад, улетела навсегда... Еще через минуту я уже рисовал себе, как происходит примирение с Сурайе. Каюсь: я видел себя в роли мужа-властелина, прощающего хорошую, но неразумную жену. Даже приготовил соответствующую речь!..

... Деньги в райцентре я получил довольно скоро. Следовало бы сразу же уехать обратно, но, как это часто бывает, обстоятельства складывались против меня.

Заврайоно вызвал меня к себе. Вместе с ним мы ходили в райисполком и в райплан—надо же было воспользоваться приездом и похлопотать о строительных материалах для предстоящего ремонта школы.

Короче говоря, освободился я часам к семи. И тут, как на зло, встретил одного приятеля, с которым учился в институте. Он потащил меня домой, ничего не желал слушать: «День рождения сына. Гости будут. Обидишь!». Я отнекивался, но безрезультатно. Пришлось пойти, взяв с него слово, что он поможет мне достать машину до Лолазора.

Приятель мой занимал отдельный домик с садом. Столы были расставлены под навесом, увитым виноградом. Гостей было много, и все обещали оказать мне содействие—доставить домой. В ожидании приглашения к столу, мы сидели на суфе за достарханом и пили зеленый чай. На очаге шипел большой котел—готовили традиционный плов. Вскоре нас пригласили к столу, и начались тосты. Один за другим. Ели мало, приберегая силы для плова, который, по словам хозяина, был особенный...

Прошло немного времени и я понял, что на машину мне нечего рассчитывать... Я нервничал, пытался незаметно уйти, но это не удалось. Вскоре стал накрапывать дождь и выручил меня. Выручил ли?... Началось великое переселение народов—в дом. В веселой и шумной кутерьме я ускользнул незамеченным. Смертельно усталый, голодный и злой вышел я на улицу...

Тут началась дорожная эпопея, которую знает всякий сельский работник. От райцентра до Лолазора двадцать пять километров, из них двадцать два по шоссе. Раз в день ходит автобус. Было около двенадцати часов ночи. Ни одного такси. Все мои надежды—на попутную машину. Доехать по шоссе до поворота, а там полчаса—и я дома.

...Попутная полуторка подвернулась во втором часу ночи. Я ждал ее больше часа. И за этот час не чувствовал себя ни пьяным, ни сонным. Но когда уселся рядом с шофером, уже минут через двадцать, надышавшись парами бензина, раскис, одним словом, опьянел.

(Боюсь, что в этих своих объяснениях я похож на пьянчужек, которым приходится оправдываться перед властями или перед женами. Мои товарищи по работе

знают, что за десять лет жизни в Лолазоре я не был пьян ни разу, даже в праздники).

Боролся я со сном и с опьянением всеми средствами: щипал себя, курил, хотя я и некурящий,—брал махорку у шофера,—даже пробовал вместе с ним петь русские песни. Когда я запел, шофер так смеялся, что появилась новая опасность—свалиться в кювет.

Как и полагается, много раз останавливались—чтобы продуть бензопровод, и чтобы заправиться водой, и чтобы подкачать задний баллон: нормальное путешествие из райцентра в кишлак.

Но когда я вышел из машины, то вдруг почувствовал, что у меня ноги словно из хлопка. Голова еще кое-как работает, а ногами владеть не могу. С трудом оторвался я от машины. Шоферу некогда было со мной возиться, некогда заезжать в Лолазор, тем более, что снова начинался дождь, и он боялся, как бы не промок его груз.

Я махнул ему на прощанье портфелем и остался один на шоссе. С трудом заставил себя идти. Но, добравшись до первого пня, сел. А если бы не сел—обязательно бы упал.

Сколько я так просидел—пять минут, или полчаса—не помню, не знаю. Крупные капли дождя привели меня в чувство. Невероятным усилием воли я заставил себя подняться. Было бы очень неприятно, если бы кто-нибудь из лолазорцев увидел меня в таком состоянии. Я даже помню, что вслух убеждал себя держаться ровнее, идти быстрее...

Только подойдя к кишлаку, я обнаружил, что со мной нет портфеля. Хмель и сонливость слетели в ту же секунду. Обратно я почти бежал. Я твердо помнил, что из машины вышел с портфелем. Обронить его по дороге? Невозможно. Вернее всего—я оставил его возле пня, где присел отдохнуть.

Долго я топтался у этого пня, сжег коробок спичек, обшарил всё вокруг, дошел до шоссе. Портфеля не было...

А дождь всё усиливался...

Разве задумывался я—куда идти? Разве вспоминал о горькой обиде, нанесенной мне Сурайе?.. Она встретила меня радостным восклицанием и бросилась ко мне

на грудь, обняла и расцеловала, хотя с меня лили потоки воды.

Ни слова не говоря, я повалился на стул.

Мухаббат и Ганиджон спали. В комнате было чисто прибрано. Ужин ждал меня на столе. Ни о чем не расспрашивая, Сурайе сняла с меня шляпу, плащ, вытерла мне лицо и шею полотенцем.

Я подбежал к письменному столу и выдвинул ящик, чтобы найти сберкнижку. Вынул ее, положил на стол...

— Вот,—сказал я,—это всё надо отдать...

— Что случилось?—напряженно улыбаясь, спросила Сурайе.

Задыхаясь от волнения, я рассказал ей о потере. «Что делать? Что делать?»—твердил я.

— У нас есть отрез на костюм, золотое колечко, серьги, подаренные мне мамой... Всё надо продать,— отвечала жена.

Я целовал ей руки и говорил, говорил, рассказывал всё как было... Когда я заговорил о Зайнаб, моя жена немного покраснела. Она считает себя виноватой,—сказала Сурайе,—и тоже просит прощения за необоснованную ревность... Я не дал ей продолжать... Мы строили планы дальнейшего поведения. Мне казалось, что нужно как-нибудь скрыть это несчастье, раздобыть любыми путями деньги...

— Не дай бог, узнают в школе,—шептал я.—Ведь там ждут получки...

Я был болен, совсем болен. Кажется, бредил. Сурайе гладила меня по голове и мягко убеждала не таить ничего от товарищей, ни на шаг не отступать от правды.

— И о Зайнаб рассказать?—спрашивал я.

— Да.

— О том, что влюбился?

— Да.

— И о том, что был пьян?

— Да.

— А где Зайнаб?—спросил я, но ответа не дождался. Кажется, опять потерял сознание или уснул.

Когда я открыл глаза, в комнате сидели Бакоев, Елена Ивановна, еще несколько учителей и секретарь нашей парторганизации—бригадир колхоза.

Я хотел рассказать им всё как было, но растерялся, не мог ничего толком объяснить и только метался по

комнате. Они меня прервали. Сурайе давно рассказала им все обстоятельства дела,—сказали они.

...Около полудня к нашему дому подъехала машина, и меня арестовали.

...Когда лейтенант милиции, в сопровождении секретаря сельсовета (председатель сельсовета всё еще был в отъезде) вошли, и мне был предъявлен ордер на арест, внешне спокойнее всех держалась Сурайе... Но я-то знаю свою Сурайе, знаю, чего стоило ей спокойствие в то утро... Товарищи мои по работе в первую минуту как бы окаменели. Потом все вместе стали кричать, что это недоразумение, что они ручаются, что быть не может... Лейтенант милиции вынужден был их оборвать. Он сказал, что выполняет свой долг, что от него решительно ничего не зависит, что он просит не мешать...

Меня повезли в город, откуда я уехал меньше десяти часов назад. По дороге мы остановились на минуту у сельсовета. Секретарю надо было захватить из конторы какие-то бумаги и забежать домой. Я сидел между лейтенантом и милиционером. Мимо мелькали лолазорские дома, ставшие мне такими родными за десять лет, проведенных здесь... Впереди, рядом с шофером, не оборачиваясь ко мне и не разговаривая, сидел Мухтар, который ехал в город в качестве представителя местной власти...»

Глава 12.

Ворон соколу сказал: „Мы с тобой—друзья,—
Оба - птицы, кровь одна, и одна нам честь!"
Сокол ворону в ответ: „Верно! Птицы—мы,
Но различье знаешь сам, между нами есть.
То, чего я не доел, съест и царь земли,
Ты же, грязный трупоед, должен падаль есть".

Абулькосим Унсури.

После того, как Мухтар, перед отъездом в район, забежал на несколько минут домой, Зайнаб с еще большим ужасом смотрела на отпертую дверь, чем раньше на запертую.

Трудно, ах как трудно что-либо понять! Последние слова Мухтара опять были о счастье. Вот, оказывается, и кражу можно считать счастьем. Четыре года назад, когда он пытался вовлечь ее в спекулятивные комбинации, ему

удалось найти слова, которые ее не то, чтобы убедили, но притупили в ней голос совести. Говорил, что помогает каким-то несчастным многодетным вдовам, не имеющим профессии. Они, эти вдовы, продадут на базаре жатый ситец или дамскую резину на несколько рублей дороже—и накормят своих детей. А то, что и к его рукам от подобных операций прилипает часть выручки, он оправдывал необходимостью возместить потерю времени.

Получалось, что он добряк, благодетель бедняков. Она ведь никогда не считала его доходы, не знала, велики они или малы. Догадывалась, но только смутно, что некоторые его дела и делишки пахнут нарушением закона. Но отмахивалась от этих догадок. Случалось, конечно, что при встречах они ссорились. Тогда Зайнаб позволяла себе и намеки, и упреки. Но в душе была уверена—ее Мухтар хороший. Немного запутавшийся, но в основе вполне порядочный человек.

Утренняя сцена была ужасной. Такого глубокого падения Зайнаб не могла и предположить. И как раз со вчерашнего вечера Мухтар не называет ее иначе, как жена. Говорит, что они единое целое. Поминутно повторяет слово «счастье».

Он ее толкнул, ударил, он ее тряс, как грушу. Раньше ничего подобного не случалось. Но ведь раньше он и не называл ее своей женой. Так вот, что означает в его представлении женитьба! А в последний приход наговорил такого, что голова идет кругом.

«Мамочка, мама!—сидя на тахте и раскачиваясь всем телом, повторяла Зайнаб.—Да что ж это такое, к кому в руки я попала, кого выбрала себе в мужья!»

Утром, перед уходом на работу, он грозил убить, если только она пикнет. Сказал, что и она уже преступница. А потом запер. Два часа, не меньше, просидела она взаперти и думала, что не выдержит своего отчаяния и умрет. Ей даже приходили мысли о самоубийстве...

Сперва она попыталась выбраться из заточения. Но это оказалось невозможным. Окна были зарешечены... Зачем? Наверное, против воров. Тогда ей и пришла на ум горькая шутка: против воров, которые снаружи или которые внутри?

Она пробовала расшатать решетку. Но куда уж ей! Нажимала плечом на дверь—всё напрасно. Удивитель-

но, она ни разу не заплакала. Зеркало отражало плотно сжатые губы, сведенные в раздумьи брови и глаза, в которых смешивалось выражение растерянности, ожесточения и в то же время решимости.

Да, в те два часа, до прихода Мухтара, ее решимость была твердой: любыми способами вырваться из лап этого чудовища. У нее ведь даже хватило догадки во-время замолчать, притвориться покорной. Он мог убить. Звериная ярость и звериный страх светились в его взгляде, когда он вцепился ей в горло. Вот даже следы пальцев на шее...

Она с омерзением вспомнила, как Мухтар сливал из порожних бутылок в стакан остатки водки, вина, коньяка... Брр, какая гадость! Но, как же это получилось, что, выпив, он не разъярился, а даже успокоился? Всё в этом человеке полно противоречий. Одно только совершенно бесспорно: у него грязная, отвратительная, бессовестная душа!.. Уйти, убежать от него, куда угодно. И никогда больше не встречать... А если будет преследовать, если начнет угрожать или станет мстить? Это даже не самое страшное. Страшнее, если он опять заговорит о любви и будет приставать и... если, вопреки всему, к ней вернется влечение...

Разве так не бывает? Разве нет женщин, связанных любовными узами с ворами и бандитами? Эти женщины и сами лишены совести и чести, сами преступницы... Но не родились же они такими! Просто не хватало сил порвать. Нет, избавиться, обязательно избавиться, вырвать из сердца!..

В это время и мелькнула у Зайнаб мысль уйти из жизни. Оставить записку и... покончить с собой. Но слишком сильна была в ней жажда жизни. Она была душевно здоровым человеком. Она даже и не начала писать записку. Довольно было посмотреть на бумагу, чтобы с дрожью от нее отвернуться.

И тут Зайнаб вспомнила: «Как же так? Разве имею я право распоряжаться своей жизнью? Ведь мое самоубийство развяжет руки Мухтару и погубит Анвара, погубит всю его семью—Сурайе, Ганиджона, милую и такую добрую ко мне Мухаббат!.. Нет, нет, это невозможно! Я должна предупредить преступление, помешать Мухтару!»

Эта идея вдохновила Зайнаб. На лице ее вновь поя-

вился румянец. Глянув на себя в зеркало, она увидела, как оживают, как загораются ее глаза.

Она ждала теперь Мухтара почти с нетерпением. Стала прихорашиваться, только для того, чтобы снова ему понравиться. «Увидев меня запуганной, зеленой от тоски, он не только не станет меня слушать,—он даже не глянет на меня... Потом, когда деньги будут возвращены, я скажу... Я заявлю ему категорически, что порываю с ним навсегда»...

Раздались торопливые шаги. Повернулся ключ в замочной скважине. Скрипнула дверь, и перед Зайнаб предстал Мухтар. Он остановился у порога, глядя на нее испытующим взглядом. И... улыбнулся. Лицо осветила прежняя хорошая улыбка, точно такая, какую он пускал в ход, когда хотел чего-нибудь добиться от Зайнаб. Например—послать в магазин, скупать дефицитные шелковые комбинации...

— Я тороплюсь,—сказал Мухтар.—Очень, очень тороплюсь. Меня ждет милиция. Да, не больше не меньше, как милиция из райцентра...

Зайнаб передернулся. Бог знает, не вообразила ли она, что собираются арестовать Мухтара. Он поспешил ее успокоить:

— Волноваться не нужно. Я вне подозрений... Вижу, вижу, ты не теряла времени зря. Привела себя в порядок. Ты, Зайнаб, молодец и просто прелесть. Глаза серны, которые я так люблю, снова заиграли молодостью. Да, да! Напрасно ты краснеешь—я не льстец. Напротив, я человек резкий и прямой. А иногда... иногда и грубый,—с этими словами он подошел к Зайнаб и, продолжая глядеть ей прямо в глаза взглядом хозяина и повелителя, взглядом дрессировщика, погладил ее по плечу. Она слегка отстранилась. Мухтар укоризненно покачал головой.

— Зайнаб,—произнес он многозначительно.—Ты слышишь?.. Я уезжаю и может быть не скоро вернусь...

— Вас подозревают?—с неожиданной для нее самой тревогой, спросила Зайнаб.

— Ах, да не перебивай же ты меня!—это прозвучало, как щелканье бича, но он тут же смягчился и продолжал проникновенно и ласково.—Напрасно ты беспокоишься. Я всё предусмотрел. Ехать приходится потому, что председсовета в отлучке—я единственный представитель местной власти... Ни меня, ни тебя никто и ни в чем

подозревать не может. Считаю нужным тебя предупредить: могу задержаться до ночи... Почему ты так смотришь? Тебе что-нибудь непонятно?..

— Продолжайте, пожалуйста,—Зайнаб опять начала охватывать дрожь. Она хотела спросить: что с Анваром? Но боялась, что этот вопрос вызовет новый взрыв бешенства.

— Слушай же дальше,—вдалбливал ей Мухтар.—Я не знал, что мне придется ехать вместе с арестованным...

Заметив, какая страшная бледность разлилась по лицу Зайнаб, Мухтар стал терять терпение. Она еще не успела ничего сказать, не упрекнула ни одним словом, а он уже спорил с ней:

— Только по своей женской глупости ты можешь думать, что есть хоть какая-нибудь связь между арестом Анвара и нашей находкой. Пойми, наконец. Портфель мог найти кто угодно. Любой и каждый. Нам повезло. Тебе и мне—нам обоим. Это свадебный подарок судьбы, это счастье, какое выпадает один раз в жизни! Почему мы должны от него отказываться? Только потому, что какой-то недотепа по своей халатности... Да, да—по своей преступной халатности, напившись пьяным...

— Простите меня, я может быть и правда не понимаю,—проговорила Зайнаб со слезами в голосе,—но ведь деньги не потеряны. Они лежат здесь, в комнате...

— Тшш!—прошипел Мухтар.—Ты с ума сошла? Если кто-нибудь услышит—тюрьма обеспечена и мне, и тебе. Путь назад отрезан. Как секретарь сельсовета, я принимал участие в задержании директора школы. Ты сидела в комнате, где лежат деньги, не заявила о них с трех утра до двенадцати дня... Могла или не могла—этого никто не станет принимать во внимание,—он взглянул на часы.— Ни слова больше. Слушай и выполняй. Я тебе доверяю полностью, как единственному любимому человеку, как жене. Доверяю и вверяю тебе свою судьбу...

Слова Мухтара били Зайнаб, как молот по наковальне. Всё, что он говорил, казалось неопровержимым. Сейчас он не толкался, не тряс ее, не душил. Он схватил ее железными клещами своей убедительности. Лоб ее покрылся холодным потом, сердце стучало, язык не подчинялся ей—она не могла ничего возразить.

— ...Не только моя судьба, но и твоя судьба, наше

общее счастье—в твоих руках. Один твой неверный шаг,—и мы погибли!

Сказав это, Мухтар еще раз взглянул на часы. Времени у него, действительно, было в обрез. Зайнаб не могла знать, что доверие он ей оказывает только потому, что другого пути у него нет. Сегодня утром в сельсовет прибежал начальник почтовой конторы:

— Мухтар-джон, потрясающая новость! Салимов оставил всю школу без зарплаты. Говорит—потерял деньги... Ай-яй-яй, какой скандал!..

Мухтар сделал удивленный вид, взмахнул руками, зацокал... Он уже давно ждал, когда ему сообщат о пропаже. Только того ему и надо было. Есть заявление—значит, можно действовать. Он тут же позвонил в районный отдел милиции. С возмущением сказал о том, что коллектив учителей остался перед Первым мая без получки... Вполне вероятно, что директор присвоил эти деньги... Надо немедленно принять меры... Одного только не учел Мухтар: никак не думал, что и ему придется ехать вместе с арестованным...

Машина пришла очень скоро. Лейтенант милиции зашел прежде всего в сельсовет. Мухтар вынужден был пойти с ним на квартиру директора и присутствовать при аресте. Хорошо еще, что лейтенант согласился подождать его несколько минут...

Что было делать? Отказаться ехать—невозможно. Оставить Зайнаб запертой на такой долгий срок, да еще учитывая ее настроение—более чем рискованно. Портфель с деньгами он спрятать не успел.

Единственное, что его могло выручить—это ставка на доверие. Когда он говорил Зайнаб, что вверяет ей свою судьбу—в его словах не было никакого преувеличения. Если б он думал, что, ползая у нее в ногах, вернее добился бы ее согласия на молчание—Мухтар бы ползал... Несколько минут, всего несколько минут. За этот короткий срок он должен ее переубедить, сломить, подавить, упросить—всё что угодно, только бы не попасться.

Время идет. Каждую минуту за ним может зайти лейтенант милиции... Неужели не удастся? Неужели Зайнаб не побоится угрозы тюрьмы? Неужели растопчет их семилетнюю любовь, откажется от замужества? Неужели отбросит всё, что их связывает и... продаст?

Мухтар проклинал себя за то, что утром был так

груб, оскорбил ее и ударил... Тут ему в голову пришел еще один довод. Сила его показалась ему непреодолимой.

— Зайнаб!—произнес он горячим шопотом и послал ей взгляд, который, по его мнению, выражал страстную муку и бешеную ревность.—Сегодня утром ты защищала преступника Анвара. Что бы ты ни говорила о том, какой он хороший педагог и человек, перед лицом закона Анвар преступник... Ты хотела вернуть ему деньги, выручить его... Мне ты сказала, что присвоить находку—означает совершить кражу. Назвала меня вором. Я разъярился. Это так. Но будь великодушной—прости меня... Да, я преступник. Но теперь перед тобой два преступника: Анвар и я. Почему же ты защищаешь его? Значит, любовь к нему в тебе сильнее?.. А если бы мы нашли портфель не Анвара, а незнакомого нам человека?..

Окончательно сбитая с толку, Зайнаб смотрела на Мухтара почти с мольбой. От изумления она даже приоткрыла рот. Ведь вот же, действительно, и тот и другой—нарушители закона, действительно, ей нужно выбирать.

— Правда, правда,—едва слышно прошептали ее губы.

Мухтар не дал ей опомниться. Теперь он сыпал одни лишь приказания. Короткие и точные:

— Я тебя не запру. Но до темноты не высовывай никуда носа. Никуда! Понятно?—Она кивнула.—Ночью, если я не вернусь, рассуешь деньги под платьем. Портфель сунешь вот сюда,—он приподнял половицу.—Чемодан не бери. Выйдешь через калитку... Чемодан я привезу тебе потом... Выйдешь—и на шоссе. На попутной доберешься до дома... Ясно? Всё, всё! Я ухожу.

Порывисто прижав к себе Зайнаб, Мухтар крепко поцеловал ее в губы...

Она видела, что по двору он шел уверенной деловой походкой. Заметила, что вынув из кармана кусок лепешки, он принялся жевать. И сердце ее защемило от жалости: «Бедный, он ведь сегодня еще ничего не ел». Ей и в голову не пришло, что она тоже не имела во рту ни крошки.

Не пришло ей в голову и то, что жевать он стал, желая показать лейтенанту милиции, что ходил домой завтракать. Видите, какой он деликатный: не заставил их долго ждать, не доел, вынужден жевать на ходу...

...И вот Зайнаб сидит на тахте, с ужасом и тоской

смотрит на незапертую дверь и раскачивается всем телом. «Мамочка, мама. Мамочка, мама,—вот уже несколько минут бессмысленно повторяет она.—Да что ж это такое, к кому в руки я попала, кого выбрала себе в мужья?!».

Глава 13

Все в мире покроется пылью забвенья,
Лишь двое не знают ни смерти, ни тленья:
Лишь дело героя да речь мудреца
Проходят столетья, не зная конца.
И солнце и бури—всё выдержат смело
Высокое слово и доброе дело.

Абулькассим Фирдоуси.

Прошло уже полчаса после того, как легковая машина уехала из Лолазора, а у здания сельсовета всё еще стояла и обсуждала происшедшее кучка людей. Объяснения давал начальник почты. В голосе его чувствовалась обида. Он думал, что его тоже пригласят в районный центр. Как никак—он первый сообщил в сельсовет о чрезвычайном происшествии.

Молодой человек с усиками, актер из города, то и дело перебивал рассказчика. Пожимая плечами и жестикулируя, он повторял все время:

— Позвольте, позвольте. Тут что-то не так. Вы не могли это слышать...

Его просили помолчать, не мешать рассказчику, но актер не унимался:

— Не так, не так! Вы говорите, что директор школы поссорился вчера с женой... Позвольте, позвольте, я все-таки режиссер и зрительное воображение во мне развито, как ни у кого... Сперва они крупно поскандалили, потом вышла эта приезжая красотка с чемоданом, потом выскочил директор, потом почему-то...

Маленькая, бойкая старушка довольно бесцеремонно оборвала актера:

— Вы, я вижу, того же поля ягода, что и эта Зайнаб. Хотите ее выгородить. Я-то видела всё и расскажу кому надо. С самого начала вышла эта инспекторша, а потом выскочил на минутку директор, но он вернулся. А вот вы...— да вы, молодой человек,—с ней разговаривали и

несли ее чемодан... Думаете, никто этого не заметил? Стараетесь запутать... Наш директор—хороший человек, а такие как вы, да еще этот Мухтар...

Лицо актера покрылось ярким румянцем. Он выразительно развел руками и протянул:

— По-озволь-те! Какое это имеет отношение?..

— А куда она девалась? Нет, вы скажите, где она, эта ваша приятельница? Всех вас выведут на чистую воду...

Актер потерял дар речи. Он смотрел поочередно на всех, кто тут стоял, но ни в одном взгляде не видел поддержки.

— Позвольте, позвольте!—воскликнул он опять со страшным возмущением, но тут же осекся.

Из калитки в дувале вышла Зайнаб Кабирова. Вид ее был необычным. В лице ни кровинки, глаза неестественно блестят, взгляд углублен в себя. Шелковый плащ хоть и перетянут поясом, но пояс вывернут наизнанку—заметен продольный шов. Пуговицы на плаще застегнуты неправильно, поэтому одна пола задралась, а другая—ниже чем следует. К груди она прижимала большой туго набитый коричневый портфель.

Странное дело: при том, что внешний вид Зайнаб был так несуразен, это не вызвало ни у кого ни смеха, ни улыбки. В том, как она шла, в ее позе и походке было высокое достоинство, почти торжественность. Она шла прямо на людей и как будто не видела их. Шарофатхола поклонилась и хотела даже что-то сказать. Зайнаб ответила на ее поклон, но тут же отвернулась и продолжала идти дальше, по направлению к школе. И хотя она вызывала жгучее любопытство всех собравшихся, никто не решился следовать за ней. Даже Шарофатхола, сделав два шага, остановилась. Лишь дав Зайнаб отойти шагов на тридцать, она, стараясь не обращать на себя внимания, быстро-быстро засеменила по другой стороне улицы.

Рассказывая потом, как она шла вслед за инспекторшей, Шарофатхола хвастала, что сразу же узнала портфель. Будто и в самом деле могла запомнить обыкновенный коричневый кожаный портфель с того времени, когда видела его в доме директора.

Мало ли что наговорит Шарофатхола! Она могла бы еще сказать, что сквозь кожу портфеля ей были видны деньги... Что-то она, конечно, могла подозревать. Ведь получку она ждала едва ли не с самым большим

нетерпением: не очень-то много зарабатывает школьная уборщица!

Ждали зарплату все члены школьного коллектива. Кому приятна такая задержка, да еще перед праздником? Но и делопроизводительница, и старый истопник Хаким Мирмуллоев, и все педагоги волновались гораздо больше из-за того, что директор школы, которого они искренне уважали, попал в такую ужасную историю.

В тот момент, когда Зайнаб, а вслед на ней и Шарофатхола, вышли на площадку перед школой, прозвенел звонок, возвещавший о том, что перемена кончилась. Дети побежали в классы. Зайнаб остановилась в раздумьи перед входом в школу, но тут же повернула вправо—к домику директора.

На крыльце стояли заведующий учебной частью, старик Бакоев и Елена Ивановна... А рядом с Еленой Ивановной, спустившись на одну ступеньку, стояла сама Сурайе и что-то горячо говорила.

К этой группе, все так же прижимая портфель к груди, подошла Зайнаб.

— Здравствуйте!—сказала она и поклонилась.

Ее еле заметили. Один лишь Бакоев вскользь посмотрел на Зайнаб и ответил:

— Салам.

Елена Ивановна в это время убеждала Сурайе не ходить в школу:

— У вас очень утомленный вид. Вам необходим, совершенно необходим отдых. Неужели мы не можем вас заменить хоть на сегодня...

Зайнаб подошла ближе. Прямо глядя на Сурайе, она повторила:

— Здравствуйте!

— Что?—спросила Сурайе и оглядела Зайнаб с ног до головы.

— Извините, что я вам помешала,—очень тихо и в то же время настойчиво, продолжала Зайнаб.—Я к вам, Сурайе-хон! Мне очень... Мне очень-очень нужно с вами поговорить...

— Я вас слушаю,—сухо откликнулась Сурайе и слегка дернула плечом.—Или может быть лучше в комнате?

Увидев, наконец, в руках у Зайнаб портфель, Сурайе

вздрогнула и оглядела педагогов. Те ничего не поняли, но торопились сказать:

— Пожалуйста, пожалуйста... Мы вас подождем.

Сурайе и Зайнаб вошли в квартиру и закрыли за собой дверь. Они пробыли там не больше пяти минут. Но и эти пять минут тянулись для ожидающих, как пять часов. Все почувствовали, что посещение Зайнаб таит в себе что-то важное.

Но вот открылась дверь. Первой выскочила на крыльцо Сурайе. Теперь она обеими руками прижимала к груди портфель.

— Нашелся, нашелся!—кричала Сурайе и глазами, полными слез, смотрела на своих товарищей.

Следом за ней вышла Зайнаб. На нее никто не обращал внимания. Она скромно пряталась за спиной Сурайе.

— Где же вы?!—вскричала Сурайе и, обернувшись, схватила руку Зайнаб.—О, господи, ну скорей же, подруженька! Милая, дорогая!.. Где телефон?!.. Надо звонить в город... В область... В милицию... К прокурору... Куда же звонить, товарищи, подскажите...

Тогда старик Бакоев, который уже всё понял, сказал голосом спокойным и добрым:

— Тише, не шумите, дети! Не надо никуда ходить. Не надо устраивать переполох в школе... Я сам пойду и сам позвоню...

Все сразу согласились. И Бакоев пошел. Но почему-то не в школу, где находился ближайший телефон, а в сторону правления колхоза.

— Это правильно,—проговорила Елена Ивановна.— Там он встретится с раисом и с секретарем парторганизации. Они посоветуются, кому позвонить, что сказать... Десять минут раньше, десять минут позже—от этого ничего не изменится... — Деньги нашлись—вот, что самое главное...

И тут оказалось, что у старика Бакоева удивительно острый слух. Он ведь отошел уже шагов на пятнадцать, но вдруг обернулся и, хитро прищурившись, спросил:

— Что самое главное? Ну-ка, повторите!.. Или нет, лучше не повторяйте. Мы все вместе как следует подумаем, а потом скажем, что самое главное.

ЭПИЛОГ

Для коня красноречия круг беговой—
Это внутренний твой круговор бытия.
Кто же всадник?—Душа. Разум сделай уздой,
Мысль — привычным седлом, и победа — твоя!

Носир Хисроу.

«...Подошел конец учебного года. Работы по горло. Весенние события потеряли остроту. И все же я, вероятно, довел бы до конца свои записки. Но каждый раз, когда я вынимаю из ящика стола эти тетради, Сурайе неодобрительно посматривает на меня, как бы говоря: «Урок, который мы получили, и так никогда не забудется! Мы уже не сможем повторить подобные ошибки. Так зачем же мучить себя, ворошить прошлое?»

Я смущаюсь под ее взглядом, прячу тетради и откладываю, откладываю.

Но вот сегодня мы неожиданно получили из города небольшое письмо от нашей дорогой Зайнаб. После суда, на котором она держалась молодцом, показав, как глубоко осознала меру нравственного падения бывшего своего жениха Мухтара Махсумова, мы с ней еще не виделись.

Попутно замечу, что и я только на суде узнал до конца этого человека. По ходу дела выяснились темные стороны его жизни. Ему предстоит, повидимому, ответить

и за другие свои преступления... Но довольно о Махсумове. К своим запискам меня заставили вернуться иные соображения.

В своем письме Зайнаб сообщила нам, что экзамены сдаст успешно и что жизнью своей в общем довольна. Очень благодарит за приглашение в Лолазор. Она пишет, что в Лолазоре ей понравилось, о лучшем месте, чтобы провести отпуск, она и не мечтает. Очень хочет повидать Мухаббат, которую за время жизни в нашем доме горячо полюбила... Была бы рада встретиться и с нами, особенно с Сурайе, но...

Вот в этом то «но» самое главное. Зайнаб боится растревожить рану. Боится, как она пишет, напомнить себе дни любви.

Мы ответили на письмо Зайнаб вместе с женой. Постарались написать как можно ласковее. Сказали, что рана ее постепенно заживет, время всё излечивает...

Да, вот, что я хочу еще заметить. Мне пришла в голову мысль, которая не дает покоя. В тот момент, когда во мне загорелась такая неудержимая, такая страстная вспышка влюбленности... Да, да я хочу сказать как раз о той безумной и нелепой ночи. Я тогда не рассуждал, не думал. Потому и я воспользовался стихами Саади, что они выражали безотчетное чувство. Любовь, где нет уважения к женщине, любовь, которая хочет подавить все остальные чувства, подчинить себе мысль...

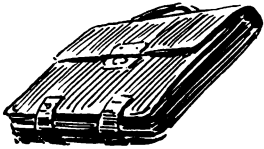
Теперь мне ясно, в чем была моя вина. В том, что я слепо, не оценивая и не обдумывая свои поступки, влюбился в малознакомую, почти совсем неизвестную мне девушку. Позволил себе влюбиться. Позволил себе говорить и писать о любви, хотя, конечно, любви-то никакой и не было.

...Последнее, что я считаю необходимым записать: Сурайе, прочитав эти последние страницы, вдруг спросила: отправил ли я наше письмо Зайнаб? Узнав же, что оно еще здесь—взяла его и порвала.

— Знаете,—сказала она мне,—завтра в младших классах кончаются занятия. Послезавтра я буду уже свободна. Лучше я съезжу к Зайнаб сама. Ведь живой человеческий разговор, живое участие лучше? Правда лучше, как вы думаете?..»

1955—56 г.

КОНЕЦ



ОГЛАВЛЕНИЕ

Часть первая

Пролог . . 7
Глава 1 . . 9
Глава 2 . . 22
Глава 3 . . 30
Глава 4 . . 34
Глава 5 . . 41
Глава 6 . . 45
Глава 7 . . 54
Глава 8 . . 64
Глава 9 . . 67
Глава 10 . . 71
Глава 11 . . 75
Глава 12 . . 78
Глава 13 . . 88
Глава 14 . . 91

Часть вторая

Глава 1 . 101
Глава 2 . 108
Глава 3 . 114
Глава 4 . 125
Глава 5 . 130
Глава 6 . 135
Глава 7 . 140
Глава 8 . 143
Глава 9 . 147
Глава 10 . 154
Глава 11 . 163
Глава 12 . 174
Глава 13 . 181
Эпилог . 186

Оформление художника *В. Горбунова*

Джалол Икрами.

Признаю себя виновным...

Редактор *Е. Лопатина*
Художник *П. Кранцевич*
Художественный редактор *Л. Винников*
Техред. *Р. Ильябаев*
Корректор *П. Матвеева*

* * *

Сдано в производство 8|II-1957 г. Подписано к печати 22|II-1957 г. Печат. лист. 12,019, 4). Учет. изд. лист. 9,5. Формат 84X108/32. КЛ 0.643. Тираж 10 000. Заказ № 191

* * *

Сталинабад, Полиграфкомбинат
Министерства Культуры Таджикской ССР.

Larisa_F